

**СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВ**

ПРАВДА И
ВЫМЫСЕЛ

Сокровища Валькирии

Сергей Алексеев

Правда и вымысел

«Алексеев Сергей»

2003

Алексеев С. Т.

Правда и вымысел / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей»,
2003 — (Сокровища Валькирии)

На Приполярном Урале студеное озеро хранит остатки монументального архитектурного сооружения – развалины Храма Солнца, возведенного носителями материковой культуры доледникового периода... Правда или вымысел? Сергей Алексеев раскрывает читателям предысторию цикла романов «Сокровища Валькирии». Атенон, Карна, Дара – эти имена он слышал еще в детстве и всю жизнь искал свидетельства существования Северной цивилизации, мира гоев. А вот нашел или нет – вы узнаете из этой книги. И еще: – о тайной финансовой операции Колчака и людях, которые стали прототипами участников экспедиции Пилицина; – о влиянии культа солнца на общеславянский язык; – о том, как появилось «Слово», и о рукописи древнерусского песнетворца Дивея, – кто вдохновил автора на создание «Крамолы» и – почему до сих пор не опубликована давно написанная Сергеем Алексеевым книга о российском императоре Александре I...

© Алексеев С. Т., 2003

© Алексеев Сергей, 2003

Содержание

Валёк – золотая рыбка	5
Гой	15
Три слова	29
Солнечный удар	45
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Сергей Алексеев

Сокровища Валькирии. Правда и вымысел

Валёк – золотая рыба

Мы умирали с дедом в феврале 1957 года: он от тяжёлых фронтовых ран, а я – от никому не известной и не понятной болезни. У деда в госпитале отняли половину лёгких, вторая половина сейчас отекала, и до смерти оставалось совсем немного, однако из-за сильного и мощного сердца он справлялся с удушьем и порой даже начинал разговаривать со мной бодрым прерывистым шёпотом. Я лежал пластом, как парализованный, утратил дар речи, не двигался, не испытывал никакой боли, возможно потому, что был ледяной и, по выражению матушки, таял, будто весенняя сосулька. Однако при этом обострённо видел, слышал и чувствовал всё, что вокруг происходит.

Дед привык умирать, а я ещё не знал, что это такое, поэтому мы оба хладнокровно лежали и ждали последнего часа. Хладнокровно в прямом смысле, потому что температура у меня упала до тридцати четырёх градусов. Бабушка днями и ночами стояла на коленях перед иконами в горнице, где был дед, но молилась за меня, и то ли от отчаяния, то ли по незнанию просила боженьку внука оставить, а деда прибрать, причём обращалась к нему без всякого страха, как-то по-свойски, будто бы с соседом договаривалась. Отец всё время тулупа не снимал, куда-то ездил на лошади, искал врачей, но возвращался один и громко матерился; матушка, если не суежилась по хозяйству и не пестовала братьев-двойняшек (сестра уже ходила в школу и жила на квартире в Торбе, за семь километров), то сидела возле постели, грела мои руки и крадучись плакала потом в закутке. Никто не знал, сколько нам оставалось жить, пока отец наконец-то не привёз откуда-то фельдшерицу, большую румяную тётку. Она посмотрела мне в рот, в глаза, перевернула с боку на бок, словно трупик, смерила температуру.

– Недолго осталось, – будто утешила она родителей. – Холодный, с такой температурой не живут.

К деду не прикоснулась, лишь взглянула издалека.

– До вечера не дотянет, – определила ему срок. – Вот-вот отмучается.

И выписала нам обоим справки о смерти. Это чтобы лишний раз не ехать за сорок пять вёрст по метельной февральской дороге.

В то время мои родители ещё безоглядно верили в медицину, и после такого заключения в доме сразу стало тихо, заговорили шёпотом, но я всё слышал. Матушка готовилась бежать в Торбу за моей сестрой и передать там, чтоб дядя Саша Рүсинов сообщил родне. Он был образованный, работал начальником лесоучастка, и у него в конторе был единственный телефон.

– Ничего, Серёга, – громко сказал дед, когда отец повёз фельдшерицу в обратный путь. – Весна скоро, река разольётся. Мы с тобой на рыбалку поедem. Поймаем рыбу валёк. Я знаю место, где она клюёт.

Про эту невиданную рыбу он говорил давно, всё собирался выловить её в нашей реке Чети, искал место, где водится, однако так ни разу и не поймал. И никто у нас в округе валька не то что не ловил, а и слыхом о нём не слыхивал. Дед любил рассказывать про эту рыбу, но только когда мы оставались вдвоём в лодке, где-нибудь под крутояром, подальше от чужих ушей, и ещё всегда предупреждал, чтоб я держал язык за зубами. По его словам, валёк отличается от других рыб не размерами, красотой или вкусом, а тем, что по достижении определённого возраста приплывает в реки из океанских глубин один раз в жизни, чтоб наглотаться золотых самородков. Рыба эта точно знает все речки, ручьи и проточные озёра, где есть россыпи, и если поймал, значит, тут и золото ищи. Причём её ничто не задержит – ни пороги,

ни высокие водопады, ни мели, только б воды было с вершок, везде пройдёт, перепрыгнет. Заходя в реки через холодные северные моря, в поисках россыпей поднимается до самых Саян и Алтая. Бывает, ловят валька даже в горных ручьях за многие тысячи километров от моря. А наглотавшись золота, спускается эта рыбка вниз и возвращается в океаны, где и живёт до смерти на страшной глубине, никакой сетью не достанешь.

Вот она-то и есть сказочная золотая рыбка!

Если поймать валька и вспороть, можно найти до горсти самородков. Дед объяснял пристрастие этой рыбы к драгоценному металлу не жадностью, как бывает у людей, а жестокой необходимостью: золото выполняло роль балласта, чтоб спускаться на дно океана за каким-то специфическим кормом. Размером она была некрупная, ровно сорок сантиметров, как на подбор, и вес имела небольшой, до двух фунтов, потому без дополнительного груза спуститься глубоко не могла. И если она не поест этого корма, то не может отметать икру, то есть размножаться. Так что, чем больше в желудке золота, тем дольше вальёк может оставаться на дне, кормиться и продлять свой род. Однако же иные рыбы от жадности глотали такие крупные самородки, что потом всплыть не могли и погибали от высокого давления.

Мой дед не был наивным фантазёром, никогда не тешился несбыточными надеждами, а скорее относился к реалистам и прагматикам, ибо жизнь прожил суровую, но при этом не утратил природного любопытства. Поймать валька он рассчитывал по чисто практическим соображениям: найденное золото думал сдать государству, а на положенные двадцать пять процентов купить отцу мотоцикл – ни охотой, ни рыбалкой, ни бондарным промыслом заработать на него было невозможно. Дело в том, что однажды ему стало совсем худо, и дядя Саша Русинов повёз его на мотоцикле в больницу. Едва они помчались на этой двухколёсной чудо-технике, как у деда прекратилась одышка, он в буквальном смысле ожил, сидел в заднем седле, смеялся и пел, а когда приехали в больницу, велел поворачивать назад.

Он верил в мотоцикл как в лечебное средство.

Вечером дед не умер, но мне стало ещё хуже. Однако я по-прежнему не чувствовал боли. Оказывается, у меня закрылись глаза и почти исчезло дыхание, чего я не заметил. Чудилось, что на улице весна, разлив, мы с дедом сидим под яром в долблёнке и ловим рыбу вальёк. Хорошо и страшно, потому что вода вокруг вспучивается, крутится глубокими воронками. Я был на рыбалке и одновременно слышал и будто бы видел, что происходит вокруг. К вечеру пришли мои крёстные – дядя Анисим и тётя Поля Рыжовы, наши единственные соседи: деревня была всего на два двора. Они сели возле меня и, кажется, просидели всю ночь.

Месяца за три до болезни я страшно захотел соли и начал есть её горстями. Родители это заметили, сперва даже посмеялись, затем поругали и спрятали солонку – я стал воровать. Сначала из мешка в старой избе, но когда и его убрали, то у коров из яслей, где лежала огромная серая глыба. Брал молоток, пробирался в стайку, откалывал кусочки и сосал, как леденец. До сих пор помню этот потрясающий и притягательный вкус; ничего кроме соли я не ел с такой жадностью и страстью ни в детстве, ни потом. У коровьей глыбы скоро был пойман с поличным, лавочка и тут закрылась, и тогда я стал бегать к крёстной. Тётя Поля втайне от всех насыпала мне маленькую синюю плошку, и это было лучшее угощение. Однако дядя Анисим увидел это дело и настрого запретил давать мне соль.

Я был уверен, что заболел только по этой причине. И чтобы вылечить меня, надо-то было всего – дать горсть соли. Но об этом никто не знал, а если я начинал просить и убеждать, что поможет только соль, никто не верил – мало ли что больной ребёнок говорит...

Тётя Поля сидела возле постели, и мне хотелось попросить у неё хотя бы крупинку, но язык уже давно не шевелился, и голоса не было, а сами они не догадывались, что мне нужно.

Так я дожид до утра, и на восходе солнца, когда буран ненадолго улёгся, к нам и явился этот человек. Сначала я его только слышал – тихий гудящий голос, объясняющий бабушке, что ему не холодно, он ничуть не замёрз и чаю пить не станет. Он был странно одет: белая

шёлковая рубаша с пояском и цацками, а сверху большой ямщицкий тулуп нараспашку. И на ногах, в мороз и ветер, красные хромовые сапоги в обтяжку!

Мы жили на границе двух районов, на единственной в наших местах дороге, и то зимней, конной. Проезжий народ заходил к нам погреться, и потому самовар или, на худой случай, чайник были всегда наготове. Обычно путники снимали тулупы, валенки (чтоб скорее согрелись ноги), усаживались к печи, матушка наливала им чаю из шиповника с мёдом и подавала горячие кружки.

Этот путник даже не присел с дороги, хотя был пеший, только шапку снял, тулуп в угол скинул и будто бы сразу определил, что в доме кто-то умирает. Отец ещё не вернулся, и потому бабушка, как большуха, встретила этого странноватого гостя настороженно и поначалу вроде бы скрыть попыталась семейное горе. Однако путник без спроса вошёл в комнату и склонился надо мной. Причём так низко, что я ощутил его лицо над своим и открыл глаза.

Скорее всего, это был старик, по крайней мере, в памяти осталась густая, крепкая, словно из проволоки, и совершенно белая борода с большими усами, длинные, с сильной проседью волосы; правда, мне до сих пор кажется, что он не был старцем и вообще старым человеком. Я не запомнил лица, или его черты потом стёрлись в сознании; остался лишь некий образ – орлиный, пугающий и одновременно завораживающий. Он распрямился и, постукивая палкой об пол, опять без позволения зашёл к деду в горницу, по-хозяйски притворив за собой дверь.

Мать с бабушкой, должно быть, сробели, ничего ему не сказали, зато обрадовались, что я открыл глаза. Стояли возле постели, звали меня по имени, просили сказать что-нибудь, но сами косились на дверь горницы, тревожно переглядывались, а путник всё не появлялся. Представление о времени исказилось, я осознавал лишь день и ночь, и сколько пробыл незнакомец у деда, отметить не мог. Матушка потом говорила, часа три, но мне показалось, он зашёл и тут же вышел. Что он там делал, никто не видел, и заглянуть в горницу не посмели, даже моя смелая и властная бабушка, которая опасалась, как бы этот прохожий чего не украл да не ушёл через окно. Воров и разбойников в наших краях хватало, потому что в окрестных леспромхозовских посёлках полно было вербованных и сибулонцев – зеков, когда-то отсидевших в Сиблаге и осевших по деревням. И даже при этом она не насмелилась хотя бы подглядеть, что происходит в горнице, и только ворчала:

– Ну что вот, а? Что они там шушукаются, лешаки? Может, они знакомые?... И Семён не зовёт... Кабы дурного ничего не сделал. Глаза-то у него чёрные, цыганские.

Деда моего звали Семён Тимофеевич...

Когда же гость наконец вышел, то сразу стал командовать.

– Положите их вместе. В одно помещение!

– Да ведь нехорошо будет, – воспротивилась бабушка. – Нельзя робёнку смотреть, как дедушка помирает...

– Он не помрёт, – заявил незнакомец. – А вдвоём им легче бороться будет. Перекладывайте мальчишку в горницу!

Матушка подняла меня вместе с одеялом, перенесла и уложила на бабушкину постель, напротив деда. Я обрадовался, хотел протянуть к нему руку, но не смог. Однако я заметил, что дед повеселел.

– Ладно, потом и поручкаемся, – сказал он. – Когда сила появится.

Незнакомец развязал свою котомку, достал кисет и оттуда не табак извлёк, а горсточку крупных кристаллов.

– Ну-ка, открывай рот! – приказал. – Да только не глотай.

Через секунду у меня был полный рот соли! Я стиснул зубы, чтоб не отняли, поскольку бабушка уже сделала строгое лицо и завела:

– Что ты дал-то ему, лешак?

– Соли дал, – обронил путник, наблюдая за мной. – Захочешь воды – скажешь.

Я не пил уже несколько дней...

– Да разве можно ребёнку столько давать? – возмутилась бабушка и двинулась ко мне.

– Можно, если просит. Вы посмотрите кругом, метель второй месяц, солнца нет, как же без соли?

– Да где это видано?..

– Мальчишка просил?

– Просил, дак ладно ли...

– Ладно! А вы не дали! Ох, темнота кромешная... Ребёнок знает, что хочет. И лучше вас!

– А ты кто будешь-то? Лекарь, что ли?...

– Я и лекарь, и пекарь! – огрызнулся путник. – Болезнь запустили, оголодал ребёнок, теперь одной солью не обойдёшься. Тело лечить надо! У него жила иссохла.

Тем временем я рассосал всю соль, дотянулся до рта и показал, что хочу пить.

– Чего маячишь-то? – ворчливо спросил путник. – Чего надо? Если воды хочешь, так и скажи.

– Пить хочу! – неожиданно для себя выдавил я.

– Ну вот! А я уж думал, ты язык проглотил! – забалагурил он. – Ну-ка, дайте парню воды!

Матушка стала поить меня из ложки, а бабушка увидела, что я зашевелился и заговорил. Теперь она наконец-то подобрела к путнику и сдалась.

– А как тело-то лечить?

– Как лечить... Побегать придётся.

– Дак побегаем, коль надо.

– Ну-ка, покажите мне скотину! – вдруг велел путник.

Бабушка накинула полушубок и безропотно повела его во двор. Обычно привередливая и строптивая, она теперь была готова на всё и даже не спрашивала, зачем незнакомцу потребовалась наша скотина (её особенно чужим не показывали, колдунов боялись, которые могли изрочить корову – молоко присохнет, или не растелится).

Они скоро вернулись, гость был озадачен.

– Не годится. Нужен красный бык.

– Да где же его взять? – охала бабушка. – Я красных и не видала сроду...

– Не знаю, думайте, вспоминайте, ищите. Чтоб обязательно красный, без единого пятнышка. Иначе парню не встать на ноги, так и останется лежем.

Я слышал, как мать с бабушкой начали вспоминать, у кого по деревням какой масти скотина, и всё получалось, только красно-пёстрая. А путник твердил про красного быка и заставлял думать. Наконец, матушка вспомнила, что в Чарочке у Голохвостовых красная корова и вроде бы без пятен. И вдруг у них есть прошлогодний бычок?

– Хозяина нет, кто поедет? – загоревала бабушка. – А до Чарочки двадцать вёрст...

– А ты сходи и приведи! – приказал путник. – Хочешь, чтоб внук поднялся – иди.

Та было засобиравалась, однако передумала и послала матушку – должно быть, всё-таки опасалась оставить на неё избу и больных. Мать оделась, заглянула в горницу, погладила меня по волосам.

– Я скоро, Серёнька, потерпи....

Тем временем бабушка, крадучись от чужака в доме, достала из сундука старый медный чайник, в котором хранились деньги (копили на мотоцикл), вынула всё, что там было, даже мелочь, отдала матери, заплакала, зашептала:

– Ой, боюсь я его, вон как зыркает. Не знаю, к добру ли, к худу принесло лешего. Да ведь что нам робить-то? Ой-ей-ей... Ну, иди с богом, уж как-нибудь...

Матушка поцеловала меня и пошла.

– И гляди, комолого не бери! – вслед ей сказал путник. – Обязательно, чтоб с рогами был.

– Господи, боже мой! – только и ахнула бабушка. – Ещё и с рогами надо...

И мать ушла за красным быком. Она так любила нас, что сказали бы ей привести зелёного, она бы нашла и привела. А путник зашёл в горницу с поленом, бросил его вместо подушки, лёг на пол и захрапел. Бабушка не утерпела, на цыпочках к дедовой постели подкралась, разбудила и что-то долго шептала, косясь на незнакомца.

– Иди, ступай, – отчётливо сказал дед. – И не чеши языком. Чего разбудила-то? Сон хороший видал, Карна приходила.

Тогда я ещё не знал, кто это – Карна, однако бабушке это имя было известно, поскольку она тут же надулась и сердито зашвыркала носом.

– Ладно, будет, – проворчал дед. – Быка-то нашли?

– Валю в Чарочку послала, – призналась бабушка. – Все деньги ей отдала...

– Зачем все-то?

– А ежели он разбойник какой? Трофима нет, перебьёт нас, да и поминай как звали. Ты глянь-ко, ведь истинно лешак, а зыркнет, так страх берёт. Ведь что сказал? Чужих в избу не запускайте, мол, чтоб меня тут никто не видал. И никому словечка не скажите про меня!.. Это на что ему, чтоб не видали, не слыхали? Ох, худое замыслил, лешак...

– Он не разбойник, – рассудил дед. – И не лешак.

– Ну, бродяга или сибулонец...

– И не бродяга. Он человек другой породы. Слушайся его и не перечь.

Бабушке и это не понравилось, но из-за своего характера согласиться и промолчать не могла.

– У ихнего брата одна порода: ходят да смотрят, что плохо лежит, – умышленно громко заворчала она и ушла, но путник не проснулся.

Отец увёз фельдшерицу и приехал немного выпивший, ввалился в горницу прямо в тулупе, схватил мои ладони своими горячими руками.

– Живой, бродяга...

И лишь потом увидел незнакомца.

Отец был человеком вспыльчивым и даже отчаянным, если его раскатать. Сам драк не затевал, но если за живое задела, тогда держись, биться будет насмерть. Возможно, потому отца считали смелым и дерзким человеком, хотя на самом деле сам он так о себе не думал, и я не раз был свидетелем, как он проявлял чудеса смирения, чтоб не ходить врукопашную.

Тут он вдруг сробел, растерялся, к путнику даже не подошёл, ничего не спросил (почему это чужой человек в горнице спит?), только посмотрел на него внимательно и чуть ли не убежал. Я слышал, как они шептались с бабушкой, но одновременно ревели оголодавшие братья-двойняшки, так что я ничего не разобрал. Потом выяснилось, что отец распряг измученного коня, завёл в стойло, а сам встал на лыжи и ушёл в Яранское, искать красного быка, потому что только там имелась скотина подобной масти. И будто в прошлом году он сам видел годовалого быка у Пивоваровых и ещё удивился, какой он красный и яркий.

Отец всего лишь четыре года ходил в школу и даже в армии не служил из-за сожжённой в детстве, изувеченной левой руки, однако при всей кажущейся темноте всю жизнь тянулся к знаниям, много читал и искренне верил в науку. Хорошо помню, как уже осенью того же года, после запуска в космос первого искусственного спутника, он несколько ночей не спал, бегая под звёздным небом, и всем спать не давал, кричал, прыгал, хохотал, а потом играл на гармошке и раззадоривал матушку – говорил, что отмечает праздник человечества, но бабушка вздыхала: мол, в отца бес вселился. Ко всякой ворожбе и колдовству он относился с усмешкой, людей, которые верят во всё это, считал дураками. И потому оставалось загадкой, что с ним сделалось, когда в тот день он вдруг бросился искать красного быка.

Матушка вернулась через сутки, ночью, с пустыми руками; оказывается, успела обойти несколько деревень, добралась чуть ли не до райцентра, пересмотрела полсотни быков, своих и колхозных, однако такого, как требовал путник, нигде не было. Ей советовали сходить в Чёр-

ный Яр, в другой район, где якобы видели совершенно красного телёнка, только неизвестно, быка или тёлку. И вот теперь матушка примчалась, чтоб глянуть, что дома творится, перевести дух и бежать дальше.

Путник всё это время проспал на полене и наконец-то проснулся, встал сердитым, от еды отказался, только ковш воды из кадки выпил и начал ругаться на матушку, дескать, тёмные вы и полоротые люди, даже красного быка не можете найти. И сказал потом, постукивая пальцем по столу:

– Если к утру не приведёте мне быка, я пойду и найду сам. Но тогда вашего мальчишку заберу и уведу с собой.

Женщины перепугались, бабушка немедля запрягла отдохнувшего коня и поехала, как в сказке, – куда глаза глядят. Матушка, видимо, решила задобрить гостя, на стол собрала, выставила бутылку водки, но тот пить-есть решительно отказался, дверь в горницу прикрыл, чтоб мы с дедом ничего не слышали, и начал с матерью какой-то разговор. Бубнили они долго, чуть ли не до утра, пока не возвратился отец.

– В нашем районе красных быков нету! – заключил он и пошёл смотреть, жив ли я.

Куда ездила бабушка, неизвестно, однако к восходу поспела, и когда её увидели в окно, дома сразу же возник радостный переполох: за санями шёл бык, привязанный к пряслу.

– Ведёт! Ведёт быка!

Отец с матушкой выбежали на улицу, а гость, говорят, даже в окно не посмотрел, только похраптел и начал собираться.

– Ладно, полоротые, сидите и ждите. Сам пойду! – сказал он, когда все вернулись в избу.

– Дак чем этот-то не подходит? – возмутилась и перепугалась бабушка. – Ведь ни пятнышка на нём, с рожищами этакими и весь красный! Я же за него, лешака, столь денег отдала!

– А на лбу у него что?

– Дак звёздочка на лбу! И то махонькая!

– То-то и оно! – Путник зашёл в горницу и сунул мне в рот всего один кристалл соли. – Это значит, бычок родился ночью. А надо, чтобы на заре!

Хлопнула дверь, и в избе наступила полная тишина.

Должно быть, родители сели за стол, советоваться. Они всегда так делали, если требовалось обсудить что-либо важное, однако дед проснулся, откашлялся и кликнул бабушку.

– Вы там особенно не суетитесь, – сказал спокойно, без одышки. – Не найти нам быка. Пускай он приведёт.

– Он-то, лешак, приведёт! – сразу завелась бабушка. – Да ведь Серёжку заберёт за этого быка! Сказал: ежели сам найду, мальчишку с собой уведу!

– Так и так его уведут. Пускай уж он возьмёт.

– Как – уведут!?

– Ну, вырастет, найдётся ему девка какая и уведёт! – засмеялся дед и ко мне повернулся. – Ты-то как хочешь? Жениться или по свету походить?

– Сам всю жизнь бродяжил! – закипятилась она. – Сколь ты дома-то прожил, лешак? То война, то промысел, то и сказать грех – бабёнки гулящие. И не лежи сейчас, дак убежал бы опять куда!

– Да будет тебе! – добродушно отмахнулся дед. – Раз парню судьба такая выходит, ничего не сделаешь...

Бабушка видела, что мы оживаем, и уже ничем жертвовать не хотела.

– Ты что же, внука ему отдашь? Чего он такого сделал, чтоб робёнка забирать? Да где это видано?! Вы, должно, сговорились с ним!

Дед завернул таким матом, что бабушка сердито засопела и умолкла – вот это была игра слов! Однако ненадолго, скоро опять под села к деду, спросила примиряюще:

– И на что ему бык-от? Вот заладил, ищи ему быка, да и всё. Как это он лечить собирается?

– Не наше дело, не лезь, – спокойно посоветовал дед – тоже не хотел ссориться. – Ничего мы не понимаем в этом деле, и понимать нам не надо. Вылечит, и ладно.

– А вы про что с ним три часа кряду разговаривали? – подозрительно спросила бабушка. – Ты его знаешь, что ли?

– Его не знаю, а людей из их племени встречал.

– Это что за племя такое?

– Ну, есть такое племя, на нас не похожее. Гои называются.

– Дак чего, нерусский он, что ли?

– Почему нерусский-то? Русские они...

– Что-то я не слыхала про этакое племя...

– Да ты много чего не слыхала и не видала...

– И где они живут?

– Кто их знает? Везде живут, ходят, ездят...

– Значит, цыгане! – определила она. – Я так и думала! То-то гляжу, зыркает!

– Не цыгане они! – Дед что-то скрывал и потому терпел, ещё не ругался, но был уже на пределе. – Порода такая – гои. Хорошие люди, совестливые, дурного не делают, живут по справедливости. И больше ничего не знаю.

– Знаешь, да сказать не хочешь! – не унималась бабушка. – А то бы три часа сидели шушукались... Тебя от тифа в гражданскую кто вылечил? Тоже эти гои? Уж не от неё ли лешак этот явился? От старухи-то, с которой ты робёнка прижил?

Дед даже материться не стал, махнул рукой, отвернулся к стенке и замолчал, а бабушка закусила губу, взяла красного быка со звёздочкой в повод и повела назад, откуда взяла.

Тогда я ещё не знал, что приключилось с дедом в гражданскую войну, об этом в семье никогда не говорили, и не понимал бабушкиной подозрительности и пытливости, однако с той поры запомнил это слово – гой, и когда сказки читал, где Баба-Яга спрашивала, мол, гой еси, добрый молодец, то сразу вспоминал этого путника и всё понимал. Но однажды на уроке, кажется, во втором классе, кто-то спросил, что это значит, и учительница неожиданно заявила, дескать, это просто игра ничего не означающих слов. Согласиться с таким суждением я не мог, поскольку Гоя видел живьём, а «еси» встречалось в молитве, которую слышал каждый день и знал наизусть: «Отче наш! Иже еси на Небеси...». Чтоб было понятнее, бабушка переводила её для меня, и это звучало так: «Отец наш! Ты есть на Небе». Потому Баба-Яга не играла в слова, а конкретно спрашивала – гой есть, добрый молодец, или нет?

Все эти свои знания я и вывалил учительнице. Реакция оказалась непредсказуемой: батю вызвали в школу и стали ругать, что у нас в семье мракобесие и религиозная пропаганда. В общем, он вернулся домой и с помощью ремня объяснил мне, чтоб научился держать язык за зубами и в школе не разбалтывал, чему учат и что говорят в семье.

Но это уже было потом, а сейчас бабушка свела негодного быка, вернулась ещё более сердитая и заявила решительно:

– Хотя какие они, эти твои цыгане совестливые, а внука своего не отдам! И не надо нам ихнего быка и лекарства!

– Я говорил, не цыган он, а гой, – терпеливо напомнил дед.

– Всё одно, ко двору близко не подпущу! Пускай идёт со своим быком...

– Лучше пусть внук помрёт, что ли? – взвинулся он. – Или лежнем на всю жизнь останется? Раз обычай у них такой – на ноги поднимет и пусть забирает. Худого не будет, а может, внук через него в люди выйдет, мир посмотрит.

– Вот, опять своё начал, – забранилась бабушка. – Вечно путаешься с кем попало, всяких цыган в избу пускаешь. А ведь старик уже, три войны прошёл...

На сей раз дед запышكال, словно рассерженный медведь, и подтянул к себе еловый батожок.

Нелюбовь к цыганам у нас в семье началась с того, что они меня чуть не украли, когда мне было около года отроду. Я не помню этого случая и знаю по рассказам, что к нам в деревню на ночёвку заехали цыгане. Это был какой-то не покорившийся власти табор – им после войны запретили кочевать, а они будто уходили в дали несусветные – аж в Сербию. Цыгане встали за поскотиной и развели костры, но попросили, чтоб детей с одной старой цыганкой пустили переночевать в избу – дело было зимой. Бабушка как чувствовала неладное и пускать не хотела, мол, вшей наташут и украдут что-нибудь, однако дед на правах главы семьи разрешил. Около десятка цыганят поместилось на печи и полатах, двух грудничков положили на топчан за печкой, а сама цыганка пристроилась на полу. Бабушкино сердце не выдержало, раздобрилось. Сначала она подала детям миску с мёдом (была своя пасека, и добра этого хоть залейся), затем предложила чаю цыганке, наконец, разговорилась, начались гадания по картам, по чёрной книге и по руке, и в результате все узнали свою судьбу, в том числе и мою. Цыганка сулила мне жизни семьдесят шесть лет и смерть от воды – она всем щедро раздавала сроки жизни, богатство и счастье, даже корове, которая должна была принести скоро двух телят, и отцовый Карьке, казённой сельповской кобыле, много лет не жеребившейся.

Несмотря на свою либеральность, дед на ночь выставил караул – послал отца на двор, охранять хозяйство. Под утро двое цыган сделали попытку приблизиться к конюшне, видно, высмотрели красивую на вид, но с перебитым задом Карьку, однако навстречу им вылетела спущенная свора собак и выскочил отец с ружьём. Поднялся лай, шум, и в это время старая цыганка начала будить и собирать детей в потёмках. Мать почувствовала опасность, встала и зажгла лампу в тот момент, когда старуха с двумя грудничками на руках и выводком цыганят выпрастывалась на улицу. Вместо меня в зыбке лежало полено, завернутое в пелёнки! Цыганские дети не плакали, и потому мать сориентировалась, вырвала из рук воровки орудий свёрток. Тут все повскакивали, начался крик, бабушка пошла в атаку с ухватом, прибежал отец. А в таборе уж и кони запряжены и взнузданы; забросили детей в повозки и взмахнули бичами.

Когда родня немного пришла в себя, меня развернули и тщательно осмотрели. Все определили, что это я, однако бабушка засомневалась – вроде, и родинка на щеке была чуть ниже, и глаза вместо голубых стали синие, и мягкие белые волосёнки на голове будто бы потемнели. Несколько дней она подозревала, что меня подменили, думаю, чтоб досадить деду – он пустил старуху с цыганятами! Потом и она признала за своего, но когда подрос, ещё лет пять пугала меня цыганами, особенно зимой, в морозы, чтоб я не просился на улицу. У нас был тулуп из плохо выделанных овечьих шкур, который от холода становился колом, так вот она ставила его в сенях, приоткрывала дверь и показывала:

– Вон цыган стоит! Выйдешь – украдёт и увезёт с собой.

Я боялся цыган до тех пор, пока не услышал их песен...

Ситуация сейчас складывалась подобная, меня мог забрать этот путник из племени гоев и куда-то увести, но удивительно, я не испытывал страха, напротив, хотел, чтоб он вылечил нас с дедом и забрал с собой. И мы бы взяли коней и поехали, как три богатыря на картинке из журнала «Огонёк», которым была оклеена перегородка горницы.

Родители рассуждали иначе, а точнее, спорили с дедом-либералом, который мог отдать меня проходимцу, чтоб только я остался жив. Все остальные готовы были странного путника выгнать, как только он меня поставит на ноги, а то милицию вызвать с сельсоветом, если потребует мальчишку себе и начнёт задиаться. Дед один стоял против всех, смеялся и отмахивался:

– Ох, и дураки же вы! Да как же вы не понимаете? Это что, вместо благодарности – взашей?

Не помню, сколько наш гость ходил, говорили по-разному, от нескольких часов до суток. И никто не торжествовал, когда он явился с красным быком, причём не на верёвке привёл,

а будто двухгодовалый бык сам за ним шёл. Денег за него не спросил, а сел на лавку точить нож и долго ширкал им по наждачному кругу, пробовал остроту пальцем, затем велел матушке затопить железную печь в старой избе и позвал с собой отца в качестве подручного. Отец потом и рассказал, как необычный гость забивал быка.

Родитель мой всю жизнь проработал охотником-промысловиком, держал коров, свиней и овец, знал многие хитрости добычи зверей и забоя скота, кое-чему и меня стал учить лет с двенадцати – воспитывал хладнокровного и одновременно сострадательного мужика. То, что он увидел в старой избе, не укладывалось в рамки крестьянского воображения. Привередливый путник велел расстелить на полу чистую солому, после чего привёл и поставил на неё быка – опять же без верёвки. Конским скребком и щёткой тщательно вычистил его с головы до ног, а копыта и рога вымыл тёплой водой с мылом, затем приказал отцу вынести солому, сжечь её и принести свежей. Все эти приготовления утомили, батя ждал, когда путник возьмётся за нож, а он всё тянул, медлил: то у окна стоял, то у быка позвоночник зачем-то прощупывал от головы до репицы хвоста, то дрова в печку подбрасывал и сидел, будто бы грелся. Отец едва терпел, чтоб не вмешаться: если он был колдуном и лекарем, то каким-то непутёвым, и быка такого же привёл – центнера под три, морда свирепая, уже в складку пошла, и рога ухватом, а стоит смирно, как овечка, которая смерти не чует.

Часа полтора шли все эти приготовления, потом путник в очередной раз подошёл к быку, слегка вроде толкнул и уронил его на пол. Отец бросился ноги держать, чтоб не дрыгался, а бык уже готов! И тут началась быстрая работа – обдирать, да так, чтобы капли крови не пролилось. Отца с ножом путник к туше не подпустил, заставил только помогать: то поддержать, то шкуру скручивать мездрой внутрь, чтоб не остывала. Сам же лишь надрезы сделал, рукава засучил и стал обдирать кулаками – ладно бы с барана, а то с двухлетнего быка! Десяти минут не прошло, а дело уже сделано! Бык забит и шкура снята без капли пролитой крови!

Отец взял топор, чтоб разрубить тушу и повесить на мороз, но путник остановил и приказал погрузить её в сани, вывезти на открытое место и отдать птицам, чтоб склевали, а кости весной в землю зарыть на горе, где не топят.

И чтобы кусочка от этого быка никто из людей не съел!

Меня он раздел догола и завернул в горячую шкуру с ногами и руками – будто спеленал, оставив лишь нос и рот, чтоб дышал, да глаза.

– Теперь спи! – распорядился путник и дал ещё один кристалл соли. – Я буду с тобой.

Уснул я почти мгновенно, испытывая какой-то солнечный вкус во рту и приятное, чуть жгучее тепло, будто лежал в жаркий летний день на речном разогретом песке. Я так хорошо запомнил эти ощущения, что потом очень долго искал, существует ли в природе подобное. Съел много пудов обыкновенной соли, валялся на самых разных пляжах, но всё не подходило. Была некая похожесть вкуса у молдавского красного вина, которое давят из винограда сорта Изабелла, а потом оставляют на солнце в открытом чане, чтоб забродило. Отдалённо напоминающее тепло я случайно почувствовал однажды, когда на Таймыре, в ожидании транспорта, чтоб уехать с буровой в камералку (мороз был за пятьдесят), я забрался в дизельную, согрелся и задремал под мощный, оглушающий рёв.

* * *

...Проснулся утром, в полной тишине, и первое, что мне захотелось, это потянуться, однако был скован высохшей до фанерной крепости шкурой. Дед не спал, сидел на кровати, подложив под спину свёрнутый тулуп, и насвистывал «Чёрный ворон». Он всегда свистел, когда становилось лучше, несмотря на ворчание бабушки.

– Ну что, Серёга, живём? – спросил дед.

– А где путник? – спросил я.

– Э-э, да поди уж под Зырянкой. Как ты уснул, он наказы дал и – дуй, не стой!

– Хотел меня с собой взять...

– Тихо, молчок! – шёпотом остановил дед. – Рот на крючок.

В этот момент вбежала матушка, за ней отец.

Снимали бычью шкуру точно так же, как путник снимал её с быка, с той лишь разницей, что делали это не так умело. Я орал, будто это меня обдирали, причём без ножа: шкура присохла, прикипела или вовсе приросла, а родители радовались, должно быть, проинструктированные путником: они знали, что я ожил, если кричу, тело вновь обрело чувствительность, заработали мышцы, поскольку я от боли дрыгал ногами и отбивался. Дед подбадривал, мол, ничего, ори громче, помогает, и не выдержал, встал с постели первый раз за многие месяцы и начал помогать; бабушка, ещё недавно подозревавшая случайного гостя во всех грехах, страстно молилась и каялась:

– Господи! Это Ты послал нам ангела своего! А я, слепая, не разглядела, не признала его, за лешака приняла. Прости меня, грешную!

Шкуру красного быка отец вынес на улицу, обложил берёзовыми дровами и сжёг, как Иван-царевич лягушачью кожу...

Гой

Так с февраля 1957 года у нас начался новый отсчёт времени – с того дня, когда к нам приходил путник. Вспоминая что-нибудь, шепотком, и только в кругу своей семьи, обычно уточняли:

– Да это было на такой-то год, как Гой являлся.

Однако бабушка, обрадованная тем, что лекарь меня забирать не стал и даже денег за быка не спросил, называла его только ангелом. Она вообще довольно часто и круто меняла своё отношение к людям и этого случайного прохожего стала боготворить. В моём представлении на ангела он совсем не походил, скорее на пожилого, дошлого и властного мужика, однако спорить с бабушкой было нельзя, по её мнению, посланники божьи могут являться в любом образе, а люди слепы и не видят промыслов Господних.

Я уже тогда понимал, что произошло нечто необыкновенное, вся наша семья прикоснулась к чуду, и теперь этот путник будто незримо живёт в нашей избе, словно ангел бесплотный, и постепенно становится легендой.

На следующую весну, с начала страстной недели бабушка пошла пешком в город, чтоб помолиться, поблагодарить Бога за наше с дедом чудесное спасение и встретить Пасху в действующем храме. (Иногда она ездила молиться к месту сгоревшей церкви в Зырянском). Томск от нас находился так далеко, что уже было всё равно, туда идти или в Палестину, на Сион-гору. Помню, ждали её долго, пытались угадать, каких гостинцев принесёт, откровенно скучали, и даже дед всё больше сидел у окна, выходящего на дорогу. Однако вернулась бабушка чем-то так разочарованная и растерянная, что даже про гостинцы забыла и стала вручать их лишь на второй день. И только по прошествии двух лет от явления Гоя тайком поведала моей второй, по матери, бабушке, как на исповеди рассказала историю с путником и излечением, за что батюшка её сильно ругал. Сказал, что она слепая, не разглядела сатану и силу его, допустив колдуна пользоваться мужа и внука. Дескать, лечить следует молитвами, постом да послушанием, но никак не бычьими шкурами, и теперь неизвестно, что с излеченными будет, примет ли наши души Господь у себя на небесах, а заодно и её душу? Греха этого ей священник не отпустил, велел привести нас с дедом в церковь: тогда, мол, отпущу и дам святое причастие.

В то время никто этого не знал, но дед что-то заподозрил, когда она сначала запретила вспоминать Гоя, дескать, бродяга этот и не ангел вовсе, а бесово отродье, чёртово племя и лешак, а потом взялась за наше религиозное воспитание. Такое дело при Хрущёве было практически запрещённым, в наших краях «открытыми» богомольцами признавались только молдаване-иеговисты (кстати, такая же незаконная секта в то время), и если были верующие православные, то наверняка молились тайно, по пещерам, как первые христиане. А дед мой иногда любил повторять, что уходил на Первую мировую войну юным, но глубоко религиозным человеком, однако вернулся со Второй мировой законченным атеистом – он говорил так, когда возникал спор с бабушкой. Потому разок посмотрел, как она ставит меня и сестру рядом с собой перед иконами, второй, и, не выдержав, сказал строго:

– Ты свои грехи замаливай, а они ещё не нажили. А то скоро как кержаки станем! И к твоему попу я не поеду, а сюда явится, так наkostenю ещё!

Бабушка только губы поджала, но нас на колени больше не ставила и повторять молитвы не заставляла. Оказывается, она давно убеждала деда поехать к батюшке в храм и проговорилась, что её лишили причастия, но за что – молчала, как партизан. О Гое она теперь и слышать не могла, и когда о нём заводилась речь, или уходила, или сердито отворачивалась, и таким образом ещё сильнее притягивала внимание к случайно зашедшему в дом человеку. Чаще всего о нём вспоминал отец, пытающийся с научной точки зрения объяснить природу лекарственных способностей Гоя. Сначала он долго изучал влияние горячей бычьей шкуры на тело

человека, и когда однажды резал бычка, завернул свою левую, подвёрнутую на мотоцикле ногу и пролежал так всю ночь – ничуть не помогло. Тогда он сделал вывод, что нужен-то обязательно красный бык, значит, благотворное действие оказывает масть. Отец очень много читал и знал разные непонятные слова.

– Всё дело в ферменте! – заявил он. – Тебя вылечили ферментом.

На третий год он однажды прибежал с промысла в середине сезона, будто бы за продуктами, а на самом деле, скитаясь по охотничьим избушкам, наконец-то понял, в чём дело.

– Тять, Гой давал тебе соли? – стал пытаться дед.

– Чего тебе? Давал, не давал... – неохотно заворчал тот. – Главное, на ноги поднял...

– А про что вы целых три часа говорили?

– Да ни про что. Так, брехали по-стариковски...

– Только ты мне не ври, тять! Ну скажи, про что? Может, он как-нибудь эдак тебя лечил?

– Ничем он не лечил! Ни так, ни эдак.

С той поры, как от нас ушёл путник, у деда остались лишь одышка да простреленная несибаемая нога, все другие болячки зажили, и даже будто бы изорванное медведем лицо стало разглаживаться. Раньше в свои пятьдесят семь лет он выглядел глубоким стариком, а тут вроде помолодел, повеселел, взбодрился и не то чтобы молчаливым сделался, а каким-то хитровато-скрытным, что-то не договаривал, ухмылялся, отшучивался и относительно Гоя никогда не высказывал своего мнения. Он снова начал бондарничать, ухаживать за пасекой, ездить на рыбалку и осенью стрелять белок в лесу за поскотиной.

Каждый раз, как только ему становилось лучше, дед собирал инструмент в специальный ящик, укладывал котомку и просил отца отвезти его в Зырянское, откуда он уже самостоятельно добирался до железной дороги в Асино. Несмотря на тихий протест домашних, и особенно бабушки, он уезжал на четыре-пять месяцев в даль неведомую, на свою родную Вятку-реку, где занимался отхожим бондарным промыслом. После войны и таких ранений его пытались каждый раз остановить, но строптивый дед бил кулаком по верстаку:

– Молчок!

И покидал дом, даже ни с кем не простившись. Возвращался он по-всякому, но всегда больной, едва живой, и его начинали выхаживать всей семьёй. Говорили, раза три, ещё до войны, он зарабатывал большие деньги, но чаще – только себе на прокорм и обратную дорогу. Тогда дед был молчалив и стойко выносил все упрёки. Помню, расстроенная бабушка выговаривала ему:

– Небось два года тому хоть семьсот рублей привёз, а ныне и на гостинцы не заробил. Что ж там, на Вятке, кадушки никому не нужны? А может, прогулял денежки-то, лешак? Иль с бабёнкой какой схлестнулся?

И вот теперь она ждала, что дед начнёт собирать инструменты и поедет на отхожий промысел, но он глядел на бабушку, ухмылялся, насвистывал «Чёрного ворона» и выстреливал нам с сестрой живые игрушки – пыльщика с пилой, мужика-кузнеца с медведем-молотобойцем, карусели, пожарных с насосом и прочие забавные штучки. На приставания отца обычно махал рукой или весело сердился.

– Так вот, тять, он тебя солью вылечил! – заявил отец. – И шкура с ферментом тут ни при чём! Он дал тебе какой-то особой соли. А может, и не соли, а другого вещества.

– Не знаю, – ухмыльнулся дед. – Помогло, и ладно...

А батя не мог успокоиться и стал выпытывать у меня:

– Ты помнишь, какого вкуса была соль, которую Гой давал?

– Помню, – признался я.

– Ну и какого?

– Солёного.

– Нет, ты погоди. Соль ведь тоже бывает разная. Поваренную мы едим, каменную коровы лижут, лоси. Есть ещё морская! Или в войну мы из болотных кочек вымачивали.

– Она вся одинаковая.

– Но ведь которая у Гоя была, помогла тебе? А эту ешь, ешь, и ничего.

– Мне шкура помогла.

Отец лишь головой покачал:

– Эх вы... Ничего не понимаете.

– А почему он меня с собой не взял? – тогда спросил я. – Сказал же, если вылечит – возьмёт.

– Кто б ему отдал? – горделиво начал батя и тут же смял разговор.

Я не могу сказать, что это была тоска по нашему Гою; скорее неосознанное детское желание: преодолевая некий страх, хоть тайком посмотреть на него. Однажды на рыбалке, когда дед вытащил на удочку крупного налима и был в весёлом расположении духа, я осмелился и спросил у него, где живёт Гой.

– А пойдём поищем! – вдруг предложил он. – Завтра рано поутру и отправимся.

Летом я спал на повети старой избы, после отбоя оказывался бесконтрольным, вольным и ходил ночью, куда хотел. Чаще всего убегал на реку посмотреть, как плещется рыба, или пробирался по тёмному лесу, чтоб найти таинственное дерево, на котором трещит козодой, а то до рассвета гонял коростелей по заливным лугам и потом отсыпался чуть ли не до обеда. В этот раз я до утра прождал деда, ходил под окно горницы слушать, проснулся ли он, и когда упала роса, сам неожиданно задремал на завалинке. Дед растолкал меня уже на восходе, и мы пошли в сторону заброшенного смолзавода, но не по дороге, а лесом, по гребню увала. К тому времени окрестности деревни я знал до последней кочки в болоте, облазил самые затаённые уголки. Существовало лишь одно место, куда я с некоторых пор боялся даже приблизиться – Змеиная Горка на этом самом смолзаводе: с виду ничем не примечательный, поросший лесом холм, каких было достаточно в округе. Правда, здесь всюду торчали из земли окаменевшие глыбы из песка, угля и смолы, какие-то деревянные круги, конструкции... Не очень-то удобное место для игр, зато тут быстрее всего сходил снег, образовывалась сухая проталина, где рано проклёвывалась густая трава и подснежники, и вообще было тепло, радостно и беззаботно. Мы с сестрой ходили сюда собирать цветы, пить особенно сладкий берёзовый сок через соломинку, сковырнув ножиком бересту, или просто играть. Родители никогда за нас не опасались, благо, что сквозь редкий молодой лес видно было деревню. А вообще здесь когда-то стоял древний сосновый бор, выпиленный в начале тридцатых сибулонцами, оставшиеся пни потом выкорчевали с помощью взрывчатки и перегнали на смолу. Однако поблизости от завода, по увалу, в то время ещё стояло несколько гигантских пней, на которых мы спали, как на кроватях, пригравшись на солнышке.

Наверное, года в три, весной, я первый раз забрёл сюда в одиночку и, когда оказался на самой горке, остолбенел, объятый ужасом: вокруг кишело сотни полторы самых разных змей, от блестящих чёрных гадюк до маленьких могильных, словно отлитых из меди. Они постоянно двигались, сплетались, как верёвки, обвивались вокруг тонких деревьев, свисали с веток, ползали друг через друга и через мои сапожки и будто бы заняты были только собой.

Наша деревенька стояла в известном на всю округу змеином месте. Когда семья в пятидесятом году решила сюда переехать из большой, по тем временам, деревни Митюшкино, бабушка знала об этой напасти и встала против. Однако дед всю жизнь стремился к воле, ни за что не хотел вступать в колхоз и отца моего не пускал (а вступать заставляли, мол, коли живёшь на территории колхоза, то и работай здесь); как глава семьи он сказал своё слово, погрузился в две лодки и приплыл к алейскому змеиному берегу. Я уже много раз видел гадюк даже в собственном дворе, и нас с сестрой учили не бояться их, а бить тонким, гибким прутом, и показывали, как это делается. В раннем, как и положено, босоногом детстве у нас было

две опасности – проржавевшие и оттого острейшие барашки от колючей проволоки, всё лето будто вырастающие из земли, поскольку на месте деревни в начале тридцатых стоял лагерь, да змеи, которые встречались в самых неожиданных местах. С первой бедой боролись просто – прометали двор раза три в лето и ссыпали в заброшенный колодец с полведра колючек, а со второй было труднее, потому как гадюки оказывались даже в подполе и коровьих яслях, и мы их колотили десятками, к тому же бабушка всё время твердила, что за каждую убитую змею отпускается сорок грехов.

И удивительное дело: если за лето каждый из пятерых детей в нашей семье колол пятаки раза два-три, то змеи за шестнадцать лет жизни в деревне ни разу никого не жалили. Да и в других окрестных посёлках не слышно было, чтоб кто-то пострадал от них. То есть какого-то особенного страха перед укусом, болью или даже смертью от змеиного яда я не ощущал и, стоя среди шевелящегося полчища, больше испытывал отвращение, цепенел от мерзости и страстно хотел приподняться хотя бы на вершок и пролететь над кишасей змеями землёй, потому что наступить некуда! Однако при всём этом было чувство, а точнее, абсолютная уверенность, что со мной *ничего не случится*.

Не помню, сколько я простоял так на Змеиной Горке (до этого случая никто не задумывался, почему так называется этот холм, змей там видели столько же, как и везде), не знаю, как перешёл через змеиный поток, может, и в самом деле по воздуху, но пришёл в себя лишь у поскотины, целый и невредимый. И почему-то закричал радостно:

– Мама, мама! А меня змея укусила!

Отец вывозил навоз на огород, потому прибежал с вилами, за ним матушка, раздели догола, осмотрели, ничего не нашли и передали в руки бабушки. Та отстегала меня прутом, приготовленным для змей, отвела под присмотр болеющего деда и побежала догонять моих родителей, ушедших в сторону смолзавода.

– Будет реветь-то, – успокоил меня дед. – Не укусила и ладно. Я вот как встану, на рыбалку поедем, щук наловим и уха сварим на берегу. Из щучьих голов уха вкусная, наваристая, ешь, пока пузо не треснет.

О том, чем закончился карательный поход на Змеиную Горку, я узнал только лет через пятнадцать, на проводах в армию, а тогда почему-то никто и словом не обмолвился при детях, как будто ничего не случилось. Возможно, пугать не хотели, а возможно, сами испугались, вспоминать было мерзко, поскольку перебили, сожгли на костре и растащили по муравьиным кучам больше сотни гадюк, и ещё много уползло. Однажды слышал только, как дед ругался, мол, без толку всё это, новые придут и ещё отомстят, не вывести с этого места гадов. На проволдинах же подвыпивший батя вспоминал мои детские «подвиги» и этот вспомнил, рассказал красочно, кое-что присочинил и всё потом спрашивал у бывалых мужиков:

– Кто знает, почему они сползаются на эту горку раз в сто лет? Кто разгадает загадку природы?.. А, то-то! Никто не знает и никогда не узнает, потому что это для нас необъяснимое явление. Вот мой тятя знал, почему, только не сказал...

Змей после этой расправы заметно поубавилось, по крайней мере, они реже стали появляться возле человеческого жилья, однако через пару лет их поголовье восстановилось, и мои братья-двойняшки, ещё только приступающие к познанию мира, нашли гадюку прямо у бани. Тянули к ней пальчики, намереваясь потрогать, говорили со знанием дела:

– Велёвоцька, велёвоцька...

И вот когда мы отправились с дедом искать Гоя, почему-то пришли на совершенно пустую Змеиную Горку и тут остановились. Дед так утомился, что присел на окаменевшую глыбу смолы и долго отпыхивался, прежде чем сказать что-либо.

– Отсюда надо к Гою идти, – вымолвил наконец. – Тут он ходит, дорога здесь у него.

– Так пойдём, пойдём, дед! – потянул его за руку.

– А в какую сторону, знаешь?

– Нет...

– Вот и я точно не знаю. То чудится, сюда надо... – Дед махнул рукой в сторону болота под увалом. – То сюда... Хреновый из меня ходок, Серёга, видишь, ноги не ходят.

– У меня ходят! Я могу и один!

– Да ведь ещё и дорогу знать надо! – Он грустно и задумчиво озираясь по сторонам, будто хотел засвистеть «Чёрного ворона». – Уйдёшь, куда глаза глядят, и не вернёшься. Да и рано тебе, вот когда вырастешь, тогда и пойдёшь один. Давай лучше посидим и подождём. Гой мимо Змеиной Горки никак не пройдёт. Он здесь частенько ночевать останавливается, во-он на том пне спит. – И показал огромный и широкий пенёк, на котором и я не один раз спал. – А раньше, бывало, даже зимовал тут. Это когда ещё сибулонцы бор не свалили. У него меж трёх сосен изба висела, под самыми вершинами – высоко-о...

– Избы не висят, а стоят! – поправил я.

– У гоев бывают и висячие, любят высоко жить. Ну ладно, давай ждать. Только тихо сиди, не шевелись и не болтай. Слушай вон, как птички поют.

Я сидел тихо и слушал, пожалуй, целый час, насколько терпения хватило, бурундуки мимо пробежали, где-то за Горкой змея проползла под увал, но Гой так и не появился. Зато пришла бабушка и позвала завтракать. Мы возвращались домой не лесом, а дорогой, дед отчего-то повеселел, хромал бойчее, смотрел на меня ободряюще, и я не чувствовал себя обманутым.

– Ничего, Серёга, не тушуйся! – подбавил уверенности он. – Сегодня Гой не прошёл – завтра пройдёт или послезавтра. Не летом, так зимой. У него здесь тропа, так что всё равно скараулить можно.

На Змеиную Горку я ходил весь остаток лета, всю осень и даже зимой на лыжах, каждый раз преодолевая знобящий страх, но Гоя не увидел ни разу и следов его не находил ни на земле в слякоть, ни на снегу. Однако ещё всю весну каждый день упорно прибегал сюда, с оглядкой и спёртым дыханием забирался наверх, сидел на глыбе, чтоб змеи не достали, и ждал. Однажды вместо Гоя ко мне приковылял дед, как потом выяснилось, по требованию бабушки.

– Ну что, не идёт Гой? – весело спросил он.

Я верил деду искренне и бесконечно, как можно верить только в детстве.

– Нету почему-то, – сокрушённо признался я. – Видно, в другом месте теперь ходит.

– Пожалуй, так оно и есть. Пошли домой.

– А где теперь Гой ночует?

– Далеко отсюда, аж на Божьем озере, – серьёзно сказал дед. – Место там глухое, дикое, и бор стоит. Видел, там остров плавучий есть?

– Видел!

– На этом острове раньше он жил. А тут что теперь, людно стало. Лес свалили, деревню видать, и дорогу рядом наездили. Он не любит ходить, где рядом чужие дороги.

Не поверить ему было невозможно! Этот путник мог вполне жить возле Божьего, потому что оно было самым таинственным местом в детстве, да и потом осталось таким же. А где же ещё жить Гою, которого бабушка ангелом называла? Божье озеро принадлежит Богу, а значит, там живут ангелы, серафимы и херувимы, хотя бабушка уверяла, что все они жители небесные и на землю спускаются редко.

Место там было глухое – ни дороги, ни тропинки, – и добираться туда тяжело: сначала надо переправиться через Четь, потом идти сквозь тёмный осинник, через симоновские луга и болото с кочкарником в человеческий рост. Да ещё нужно не промахнуться, попасть на узкую еловую гриву, которая и приведёт к берегу Божьего. В самом озере вода была медного цвета, рассказывали, что оно бездонное и водятся там огромные замшелые шуки. Одноногого мужика из Торбы такая шука утопила вместе с плотом, когда попала на жерлицу. До топора дотянуться

он не смог, чтоб шнур перерубить, и утонул. А плот, говорят, ещё несколько дней водило по озеру.

Не знаю, водятся ли в Божьем замшелые шуки, но замшелый лес там был, и стоял он за плавучим берегом на угоре – древние величественные сосны поросли мхом до самых крон, а гигантские корни вылезли из земли. Прошлым летом матушка пошла на Божье за голубикой и взяла меня. Мы переплыли через озеро на плоту и оказались на зыбуне, где и росла ягода. Земля под ногами плавала на воде, было интересно и здорово качаться на ней, как на кровати с панцирной сеткой. Однако больше всего притягивал этот могучий бор, поскольку я никогда ещё не видел близко таких огромных деревьев. Матушка меня одного далеко не отпускала, боялась, пойду к берегу и провалюсь в окно. А там, говорят, дна не достанешь; когда мужики одноногого искали, двое вожжей связывали – не хватило.

Мы набрали три ведра голубики очень быстро, от ягоды там болото казалось синим, и матушка согласилась сходить в лес просто так, безо всякого дела. Поднялись на угор и немного походили по краю бора, я всё время запинаясь и падал, поскольку смотрел не под ноги, а в глубь таинственного места.

Вокруг нашей деревни было много леса – смешанного, берёзового или вообще чистого бора, но меня с тех пор тянуло в этот, потому что он стоял на самом краю света: дальше озера я никогда не был, а значит, и мир заканчивался там же.

Должно быть, мои вопросы о Гое всем надоели, даже матушка стала отмахиваться, мол, что ты заладил? Лучше возьми букварь и читай, скоро в школу идти. Дед бы, конечно, пошёл со мной, однако на своей прямой и высохшей ноге он дальше берега или смолзавода не ходил, а древний могучий лес на Божьем по тогдашним понятиям был далеко, километра два, не меньше. Вот и решил сам пойти и поискать, где живёт путник.

В свой первый самостоятельный поход я отправился рано утром, ещё до завтрака, когда родители ушли на заломские покосы. Взял деревянное ружьё, настоящий нож, спички и соль – как отец, отправляясь на промысел, – и пошёл напрямик, через картошку и прясло, чтоб из окна не заметили. Речку переплыл на обласе, спрятал его в кустах и смело шагнул в мрачный осинник.

Искали меня почти трое суток по всем лесам, во всех направлениях, в первую очередь, конечно, на Божьем, а также в реке и других озёрах. Дед считал себя виноватым, порывался идти искать и так сильно переживал, что в первый раз после явления Гоя сильно заболел и слёг. Из Торбы дядя Саша привёз целую машину лесорубов, которые прочёсывали осинник на той стороне, симоновские луга, кочкастое болото и плавающую землю вокруг Божьего, кричали, стреляли, а ночью, чтоб не жечь патроны, били кувалдой по подвешенному еловому бревну – гудело, как колокол. Все думали, услышу и выйду на шум, но я ничего не слышал, хотя всё время находился в бору возле озера, который лесорубы прочесали вдоль и поперёк.

А я утром притопал к Божьему, переплыл его на плоту и вошёл в этот древний лес. Всячее жилище путника я искал, может, час или полтора, обшарил весь бор и вернулся назад той же дорогой, потому что хотел поспеть к завтраку, иначе бабушка хватится.

Потом меня спрашивали, как и где ночевал, и я не мог доказать, что ночей не было, поскольку я отсутствовал всего четыре-пять часов. Солнце не заходило и не восходило, звёзд на небе я не видел, спать не ложился, потому что нещадно жрали комары, и костра не разводил. Один раз только воды ладошкой попил из мочажины и не удержался – забрался на плавучий остров и ягоды княженики поел.

Пожалуй, моё искреннее упрямство спасло тогда от порки. Домашние посоветовались и решили не наказывать, но обозвали меня хитрым, изворотливым и упёртым, запретили выходить за поскотину и отправили полоть картошку. Я ждал, что дед заступится, но он сильно болел и на семейный суд подняться не мог, разве что потом подманил меня и щёлкнул в лоб своим костяным пальцем так, что слёзы брызнули. Через несколько дней он кое-как встал,

расходился и к вечеру, открыв окно, облокотился на подоконник и начал насвистывать своего «Чёрного ворона». А через неделю сел в свой облас и поехал на рыбалку, но меня не взял и вообще перестал со мной разговаривать. И только осенью, когда я месяц уже отучился в школе, и всё немного забылось, неожиданно позвал с собой лучить шук и налимов по пескам.

– Ты где был-то, лешак? – спросил с застарелой обидой, но и с желанием помириться.

– На Божьем был, – признался я. – В старом бору.

– А не врешь?

– Нет, правда!

– Заблудился, что ли?

– Да нет...

– Где ж тебя носило?

– Нигде не носило, пришёл, поискал Гоя и тут же домой ушёл.

Дед положил острогу поперёк, сел и уставился в огонь на носу лодки.

– И что, нет там Гоя? – через несколько минут спросил он.

– Не нашёл.

– Ну и ладно, давай рыбачить!

Спустя несколько лет, когда отец меня натаскивал ходить по тайге и учил промыслу, дед частенько посмеивался, мол, ну-ка, расскажи, как ты в трёх соснах на Божьем заблудился? И если я опять начинал доказывать, что в лесу не плутал, не ночевал, то он сердился, называл меня вруном и упёртым.

С той поры минуло лет тридцать, и вот однажды, приехав к отцу, я застал его выпившим, но не с гармошкой в руках, а растерянным и задумчивым, чего раньше не бывало. Он только что вернулся с рыбалки (жил тогда уже в райцентре), наварил ухи из щучьих голов и сидел за столом в гордом одиночестве. Сразу ничего не сказал, но за полночь, когда наконец взял в руки гармошку, его прорвало. Отставил инструмент, побегал, стуча босыми пятками по полу, и снова завернул самокрутку.

– Слушай, Серёга, не знаю, что творится! – заговорил полушёпотом. – Вчера приехал на Алейку, пошёл на Божье, думаю, сети поставлю, щучья наловлю на приваду. Ну, воткнул шесть штук, вылез на берег, посидел, покурил. Гляжу, поплавки заходили, рыба пошла, и знаешь, к вечеру полтора десятка вот таких!.. А уж темнеет, я – назад. Прихожу в избушку, а печь холодная. Я ведь протопил её и пошёл, чтоб ночевать в тепле. Тут – как лёд! Да и молоко в банке прокисло... Жутко стало, сети в озере так и оставил, схватился и домой. Приезжаю – семнадцатое число. Уезжал-то я четырнадцатого, на одну ночь! Не знаю, что и думать. Где был три дня? С женой поругался. Пьянствовал, говорит, вот и не помнишь, где. Я ей рыбу показываю: ну ладно, щуки быстро дохнут, а караси-то свежие, ещё хвостами быют!.. Если б напился да память потерял, пролежал где-то, они б точно сдохли. Нет, опять к матери убежала...

После смерти моей матушки он женился трижды, но никто на свете уже не мог заменить её, любимую и единственную. Все жёны ревновали отца к ней, потому что во сне он звал её по имени...

– Ты-то хоть мне веришь?

– Верю! – сдерживая внутренний трепет, сказал я. – Мне дед говорил, там Гой ночует.

Про Гоя отец пропустил мимо ушей.

– Тогда сходи к ней, скажи, что так бывает.

Я сходил, объяснил, как мог, и привёл отцову жену домой. Отношения вроде бы наладились, однако наутро батя невесело толкался по углам или задумчиво курил на крыльчке.

– Надо ведь ехать да сети снимать, – признался он. – Сгниют – и рыба пропадёт... А боюсь!

Мне показалось, он опасается снова рассориться с женой. Отец будто угадал мои мысли.

– Да ты не думай, не её боюсь! – засмеялся он настороженно. – Пойду к Божьему, а вдруг опять?.. С другой стороны, проверить охота, испытать, что там творится?!

В следующий раз я приехал через несколько месяцев, отец уже не вспоминал этот случай, так что пришлось спросить самому, чем закончилась проверка.

– А ничем! – удивлённо проговорил он. – Сходил, сети снял и ничего. Когда ушёл, тогда и пришёл. Главное, про это думать не надо.

* * *

На четвёртый год после явления Гоя, в воскресный банный день, в самом начале вольного лета, когда река уже высветлилась, вошла в свои берега и под таловыми кустами за поворотом начали брать язи, мы поплыли с дедом на рыбалку. Клевало неважно – плоские, с мою ладошку, чебаки, окуньки, а потом и вовсе пошёл ёрш, ни один подъязок червя не трогал. Обычно дед или сматывал удочки, или переезжал на новое место, пока не находил рыбы. Тут же сидел благостный, умиротворённый и даже ни разу не матюгнулся, хотя мелочь объедала наживку каждые три минуты.

– Ну что, Серёга, мне пора! – сказал он где-то часа в три. – Сиди, не сиди, а надо, срок пришёл. Одиннадцатое число сегодня.

Мы приплыли к нашей пристани, я собрал улов и побежал домой, а дед остался в лодке, мол, часик посижу, пока баня не вытопилась.

Потом я бегал за ним ещё дважды: первый раз он и разговаривать не стал, сидел в лодке почему-то лицом к корме, лишь обернулся и глянул через плечо, когда я крикнул с берега, что батя в баню зовёт.

Во второй раз меня послала матушка, сказала, уже бельё собрано, покличь деда. А надо сказать, баню он любил, уходил туда часов на пять, как на работу, и если на всю деревню разносился весёлый разудалый мат, значит, мой дед парится. Но после ранения дышать в парной ему тяжело стало, говорят, переживал сильно, пока не вырубил специальное окно, чтоб лежать в бане на полке, а голова на улице. Обычно его батя двумя вениками охаживал, а дед кричал:

– Серёга, ну-ка тащи мне воды!

Я приносил воды и поил дедову говорящую голову, в ковше лёд брякал...

Сейчас дед сидел на корме лодки и пытался оттолкнуться от берега, однако было глубоко и весло не доставало дна. Я удивился и засмеялся – лодка была привязана!

– Оттолкни-ка меня, Серёга! – Он тоже развеселился.

– А ты куда, дед? – испугался я.

– Да пора мне!

– Матушка сказала, в баню надо...

– Некогда здесь, там уж попарюсь. Там, Серёга, бани тоже есть, только у самой реки ставят и по-белому топят.

Я почувствовал неладное, испугался ещё сильнее и чуть не заплакал.

– Дед, пойдём домой, ну пойдём...

– Какой же из меня ходок? – Он засмеялся. – Теперь ты ходи, а я домой поплыву! Плавать хорошо: сиди, греби да на берега смотри – красота!

– Так дом у нас там...

– Нет, Серёга, мой дом теперь в другом месте.

Дед ещё раз хотел оттолкнуться, но дна не достал и чуть не опрокинулся. Подобной оплошности он никогда не допускал, однако ещё больше развеселился, к тому же колышек, за который была привязана долблёнка, вырвался и поволочился по берегу.

– Дед, ты куда? – Лодку сносило, я пытался схватить верёвку, но в руках оказывался песок.

– В рай поплыву! – засмеялся он и стал грести.

К тому времени я уже закончил второй класс и отлично знал, что рая нет, хотя дед был уверен и всегда говорил, что непременно попадёт именно туда. Даже если не будет молиться, как бабушка.

Я наконец поймал верёвку с колышком, однако удержать долблёнку не мог и, упираясь, потащился следом.

– Нам сказали, рая нету и ада нету...

– Как это нету? Кто сказал?

– В школе говорили...

– Врут! А куда мы денемся после смерти? Ада нет, это точно. Ад на земле, потому живём и мучаемся. А когда люди умирают, то все сразу попадают в рай, и грешные, и безгрешные. Ты никому не верь, Серёга. По секрету скажу, бывал я у самых ворот и туда заглядывал. Рай, он не такой, как в Библии пишут. Природа, как у нас, тоже река течёт, Ура называется. Меня туда одна женщина водила...

Он причалил долблёнку бортом к берегу, воткнул весло в песок и стал рассказывать. Я слушал его со страхом и восторгом. И до сих пор, если эти два чувства испытываю одновременно, у меня всегда текут непроизвольные слёзы и срывается дыхание. Это было не увлечение рассказом – потрясение, так что я даже не заметил, как на берег пришёл отец, и не знаю, что он слышал, однако был испуган и неожиданно вмешался, стал чуть ли не насильно вытаскивать деда из лодки и уговаривать идти домой. Дед сначала отмахивался, сердился, а потом вдруг подчинился и вылез на берег. Отец взял его под руку, хотя нужды в том не было, вывел на кручу и повлёк к дому. Навстречу вылетела бабушка, и до моих ушей донеслась оброненная батей фраза:

– Неладно с ним, заговаривается...

Потом это слово повторяли много раз, и все домашние были уверены, будто дед перегрелся в жару, получил *солнечный удар* и от того начал заговариваться, ибо то, что он поведал мне – а отец, видимо, случайно подслушал, – не укладывалось в бытовую логику. Они ещё не знали, что дед через несколько часов умрёт – об этом он сказал только мне. Его пытались всячески успокоить, уложить в постель, и бабушка даже рюмку ему предлагала выпить. А дед и без рюмки словно пьяный был, смеялся, ни на что не соглашался и требовал, чтоб пустили в баню. Дескать, раз не дали мне сразу в рай поплыть да там попариться, попарьте здесь.

– Трофим, собирайся, пошли! – Он порывался встать с лавки, но ему не давали. – Баня же остывает, ты что? Да и времени у меня мало, некогда! Бельё возьми новое, чтоб не переодевать потом, а гимнастёрку старую, в которой я с фронта пришёл. А то в другой одежде не узнают и не пустят. Идём, попарь в последний раз!

Всё это он говорил весело и даже радостно, а в доме был полный переполох. Отец сдался и повёл его в баню, но меня на сей раз не взяли, хотя мы года два уже ходили на первый пар втроём. Однако, будто зачарованный, я не мог оторваться от деда, поплёлся за ними и остался сидеть в предбаннике. Скоро прибежала матушка и потащила меня домой.

– Дед сегодня умрёт! – сообщил я и заплакал.

– Ты что говоришь? Типун тебе на язык! – насторожилась она. – У дедушки *солнечный удар*. Он отдохнёт, и всё пройдёт.

– Нет, он сегодня в рай поплывёт, на реку Ура. Ему Гой сказал. Он смерти попросил, мучиться надоело, но Гой сказал, одиннадцатого умрёшь, в воскресенье после бани, а пока живи.

– А кто это – Гой?

– Это такой человек. Помнишь, приходил лечить? В шкуру заворачивал?

Должно быть, мать ничего не поняла, испугалась, что я тоже перегрелся и заговариваюсь, отвела на поветь в старую избу и затолкала в постель, после чего принесла кружку с молоком

и хлеб, заставила съесть всё при ней и спать. Я плакал молча, молча же выпил солоноватое от слёз молоко и забился под одеяло, хотя было рано, ещё коростель на лугу не запел и солнце не совсем село.

Обиднее всего было, что дед умрёт и в рай уйдёт без меня.

Он никогда не рассказывал про войну, и если у нас в доме собирались фронтовики и начинались воспоминания, дед ухмылялся, помалкивал и выглядел совсем не героически, особенно когда надевал пиджак с двумя медалями – «За Победу» и «За оборону Заполярья» – всё, что заслужил на трёх войнах.

Спустя много лет, по скудным свидетельствам бабушки и отца, я схематично восстановил события, произошедшие с дедом в первых двух войнах. На Первую мировую он пошёл добровольцем, в пятнадцатом году, приписав себе возраст, и, провоевав год, заболел тифом. Его вытащили из вагона-лазарета и бросили на какой-то станции, предположительно в Смоленской области, – так поступали с умирающими, поскольку в поезде не хватало мест для раненых, которых ещё можно было спасти.

Умерших тифозных с военных эшелонов хоронили какие-то местные службы, но дед ещё дышал, и потому его оставили на перроне до ночи.

А ночью на станцию пришла женщина и каким-то образом подняла и увела (или унесла) деда к себе в дом. Там за месяц выходила, немного откормила и отпустила домой.

В Гражданскую его мобилизовали в белую армию, где он прослужил очень долго – аж два с половиной года – вроде бы каптёром в пакагузах, где хранилась конская сбруя (сёдла местным мужикам продавал за самогонку). Но почему-то участвовал в боевых действиях партизанского характера, совершал какие-то длительные конные переходы по лесам и горам и даже получил пулевое ранение в предплечье. Одно время я подозревал, что дед был в некоем карательном отряде, и однажды высказал предположение отцу. Тот что-то знал, но всего выдавать не хотел и мои доводы отнёс напрочь: дед в карателях не был! Но как-то раз проговорился, что дед чуть не уплыл с интервентами из Архангельска в Англию. Уже и на пароход сел, и какое-то имущество затащил, но всё бросил и в последний момент сошёл на берег. Мол, жил бы сейчас где-нибудь в Лондоне и в ус не дул.

В общем, это был самый тёмный период в его жизни, и я долго думал, что скрытность его относительно службы у белых продиктована опаской: могли ведь арестовать, посадить, а то и вовсе расстрелять. Судя по отрывочным рассказам бабушки, он дезертировал из белой армии, когда она развалилась, и прибежал прятаться в родную деревню, но не домой, а к своей невесте, то есть к ней. Как раз топили баню, и в ней к ночи ещё было жарко, поэтому его отправили мыться – сильно завшивел. А бабушкин брат Сергей (в честь которого назвали меня) в это время был красным партизаном и пришёл из леса, тоже в баню. И прихватив там белого дезертира-деда, поставил расстреливать к дубу, росшему в палисаднике. Бабушка упала брату в ноги, вымолила жизнь жениха, но Сергей увёл деда к партизанам, где он несколько месяцев таскал на себе станину станкового пулемёта, пока красные не победили. И таким образом как бы искупил вину.

На Вторую мировую его взяли в сорок втором, на Северный фронт, а через два года позиционной войны (дед таскал на себе миномётную плиту), где-то в сопках он со своим расчётом попал в засаду, под пулемётный огонь, получил ранения в грудь и в ногу и пролежал в лесу четверо суток, ожидая смерти. (С тех пор он любил и насвистывал песню «Чёрный ворон».) Но почему-то не истёк кровью, хотя даже перевязать себя не мог, и не умер, когда его товарищ, тоже тяжело раненный, погиб. Ещё троих убило сразу.

И вот на пятые сутки, ночью, на сопку послали солдат, чтоб вынести миномёт (не убитых – возможно, потому на севере их кости до сих пор лежат не похороненными), а они нашли деда живым и притащили вместе с оружием. После госпиталя в Архангельске (опять в Архангельске!) отправили домой умирать – привезли на подводе едва живого.

Это всё, что было известно из скудных, случайных рассказов самого деда и старика Кафтанова, который воевал вместе с ним и тоже был немногословным.

В тот воскресный день одиннадцатого июня, когда дед получил *солнечный удар* и стал будто бы заговариваться, он на самом деле рассказал мне то, о чём всё время молчал, ибо знал, что сразу же определят какую-нибудь душевную болезнь или в лучшем случае скажут: перегрелся. И уши выбрал для откровения мои – наверное, знал, что никто другой не поверит.

Так вот, после того как миномётный расчёт попал в засаду и был расстрелян, на сопку взошла женщина в чудной, непривычной одежде – ярко-синем плаще, наброшенном на плечи, причём очень длинном, так что полы волочились по мхам. Она будто плыла, поскольку не видно было, как переступает ногами. Сначала дед подумал, пришла какая-то местная, из племени саами – они иногда появлялись на передовой, маленькие, невзрачные люди в пёстрой одежде и в любое время года в тёплых разукрашенных головных уборах. Однако когда она приблизилась, дед увидел, что эта женщина высокая, статная, без платка, и волосы длинные и жёлтые, а не рыжие, как у местных, и на лицо русская. Ему показалось, женщина ищет раненых, потому что останавливалась у трупов и долго всматривалась, вероятно, определяла, жив или нет, а потом зачем-то набрасывала полу плаща на лицо. Решил, это ходит сама Смерть, и окликнул, мол, иди сюда, они все мёртвые, а я ещё живой, грудь печёт, мучаюсь, помощи. Она услышала, однако подошла не сразу, прежде возле убитых постояла и вроде бы даже молча поплакала. А когда наконец приблизилась и присела на камень в изголовье, дед увидел, что она не призрак, а совершенно реальный человек, разглядел даже лёгкие морщинки у её глаз, невысохшие слёзы на щеках и мох, приставший к полам плаща.

– Ты Смерть? – всё-таки спросил.

– Нет, я жизнь после смерти, – сказала она.

У деда в военном билете в графе «образование» было написано «негр», что означало неграмотный. В вопросах философии он был не силён, вычурных словосочетаний не понимал и потому сердился, требовал, чтоб говорили по-русски и толково. Тогда он добивал третью войну и твёрдо знал, что никакой жизни после смерти не бывает: на его глазах медленно или мгновенно погибли сотни человек, и ни одна душа не вылетела из тела, чтоб обрести другую жизнь, в раю или аду. Дед допускал, что она, душа, в человеке существует, но бесплотная, а бесплотной, пусть даже вечной, жизни он не хотел ни в каком виде. Ну что толку? Ни жену обнять, ни с удочкой посидеть на бережку, ни кадушку смастерить, ни даже в баньке попариться. Будешь ходить, как тень, да живых людей пугать.

Потому сказал этой женщине определённо:

– Ты знаешь, я после смерти жить не хочу. Мне бы уж к одному концу – или туда, или сюда.

Она сорвала мох с камня, на котором сидела, вытерла кровь с груди и ноги и мхом же раны заткнула.

– Ну так вставай, пойдём со мной. Да в землю смотри, глаз не поднимай.

Дед вспомнил, как его, тифозного, подобрала женщина на станции, когда бросили умирать, решил, что опять повезло. К своему удивлению, поднялся на ноги и пошёл. Идут, а женщина время от времени спрашивает:

– Ты жив ещё, воин?

– Вроде живой, – говорит дед, а сам не знает: состояние какое-то непривычное, раны горят, а наступать на ногу и дышать – не больно.

– Ладно, – говорит, – идём дальше. Но не забывай, гляди под ноги и обратную дорогу не забывай.

Сколько и в каком направлении они шли, он не помнил, видел лишь, что под ногами то мшистые болота с клюквой, то камни в голубых лишайниках, то брусничник со спелой кровя-

ной ягодой – от земли, сказано, глаз не поднимать. Наконец, остановились у какого-то ручья, женщина в последний раз спрашивает, жив ли он.

– А вроде ни живой ни мёртвый. – Дед осмотрелся по сторонам – кругом сопки, лес и никакого жилья. – Ты скажи, куда завела?

– К истоку реки Ура, – сказала она. – Отсюда начинается путь в небесное воинство. Видишь, стоим у самых ворот? А поскольку ты до сих пор не умер, то дальше тебе дороги нет.

Дед понял, что стоит у ворот рая, однако в его представлении он должен был быть чисто библейским, с садами и всякими диковинными растениями, как на юге, а тут сосны, ёлки, камни да мох. И холодно, потому что октябрь месяц, а он без шинели, в одной гимнастёрке, и то рваной и окровавленной. Да и ворот никаких не видать, разве что над речкой прошлогодним снегом тонких берёзок понагнуло до земли, и стоят они, как арки.

Хотел, говорит, попить из ручья, а женщина не дала, мол, живым из этой реки пить нельзя.

– Ну а войти погреться-то можно? – спросил дед. – Там тепло?

– Тепло там лишь мёртвым, – с сожалением сказала женщина.

– Пускай хоть одежду какую дадут. Кровь потерял, мёрзну.

– Так нет там никакой одежды...

– Чего же привела сюда?

– Пожалела, – говорит. – Думала, умрёшь по дороге, а ты жив остался. Сердце у тебя крепкое.

– И что мне теперь делать?

– А придётся в ад возвращаться и жить. Как срок настанет, придёшь сюда, к истоку, на это самое место. Спросят, как нашёл, скажешь, Карна дорогу показала.

– Так ты не велела дороги запоминать! Как же найду?

– Когда время наступит, найдёшь. А не велела запоминать, чтоб раньше срока не явился.

Он и спросил, когда будет срок, но Карна говорит, не скажу, а то ждать начнёшь, и жизни никакой не будет. Ступай, мол, назад, где лежал, и жди, за тобой придут и в госпиталь отправят.

Дед развернулся и пошёл.

* * *

И вот четыре года назад, когда мы с дедом сильно заболели, пришёл Гой, и дед стал у него смерти просить, дескать, помоги, устал я мучиться. Внука на ноги поставь, а меня отправь в рай. Мол, я дорогу найду, меня Карна ещё в сорок четвёртом году туда водила. Гой сначала будто бы согласился, но потом на попятную пошёл, говорит, не могу я никого отправлять в рай, а вот срок сказать имею право. И сообщил деду день и час смерти, поживи, говорит, от души хоть это время.

Теперь деду и пришёл этот срок – одиннадцатого июня шестьдесят первого года.

Он говорил об этом так спокойно и даже весело, что мне становилось страшно.

Должно быть, в это время к нам на берег явился отец, видимо, что-то подслушал и решил, что дед заговаривается...

Сколько я помню деда и истории о нём от самых разных людей, он не был выдумщиком, фантазёром или сказочником. Для этого нужны определённый склад ума и души, умиротворение и ощущение радости жизни.

Он не был классическим дедушкой, к которому хочется забраться на колени, прижаться и попросить, чтоб рассказал сказку. После трёх войн дед стал взрывным, психованным и нетерпимым, если ему перечат или что-то не так. От него доставалось всем, иногда без особой причины, просто стоит под горячую руку подвернуться. Ко всему прочему, он постоянно болел, и

единственная отрада у него была – это дожидаться весны и посидеть с удочкой на реке. Каждый день он проживал как последний и, возможно, поэтому компромиссов не знал.

Первый раз его чуть не посадили вскоре после войны – гонял пешней по деревне районного начальника, которому бабушка, откупая моего отца от ФЗО, сначала дедов полушубок преподнесла, а потом ещё сунула полмешка нарубленного табаку (а откупать-то и не надо было, отец не годился в училище из-за искалеченной руки). Говорят, следователи несколько раз приезжали и даже забрать пытались, но дед сел на верстак, положил рядом топор и сказал – забирайте!

Второй раз, и это я уже помню, он выбил челюсть и зубы директору леспромхоза, когда тот приехал отнимать покос, положенный деду как инвалиду войны первой группы, и заговорил в оскорбительном тоне, мол, я тебя вообще выселю. В наших краях тогда он считался очень большим начальником, однако дед этого положения будто бы не заметил, одним ударом уложил директора в сугроб. Спас его кучер, утащив в кошеву. Помню кровь на снегу и страшно возмущённого деда. Потрясая узловатыми кулаками, он кричал, что его выгнали с колхозной земли и теперь с леспромхозной гонят, мол, что мне теперь и земли нет, за которую я кровь проливал?

Ещё помню, как приходили забирать вторую корову – при Хрущёве разрешалось держать только одну на двор, хотя в семье у нас было уже девять душ. Дед болел, однако встал с постели, приказал всем сидеть тихо и не высовываться, а сам взял вилы и пошёл в штыковую на председателя сельсовета и участкового.

Жизнь у деда была суровой и настолько пропитанной суконной реальностью, что для выдумок и фантазий в ней не оставалось места. И то, что он рассказывал, действительно можно было расценить как воздействие *солнечного удара*. Потому и слушал его со слезами и разинутым ртом, и если бы на берег не пришёл отец, может быть, ещё что-нибудь узнал необычное и потрясающее. Я чувствовал, что откровение о путешествии к истоку реки Ура с женщиной по имени Карна не завершено – если это первая и последняя дедова сказка, то она была без конца. Однако сразу после бани его положили в горнице, а всех детей загнали спать – чтоб не путались под ногами, а может, не хотели, чтобы кто-то из нас слишком рано увидел таинство смерти.

Солнце село, закричал коростель на лугу, потом на прохоровской дороге затрещал козодой и, наконец, стемнело, за окном бесшумно запорхали летучие мыши, а я не спал и придумывал причину, чтоб нарушить матушкин запрет и хотя бы заглянуть в горницу, где умирал дед. Может, он увидит меня и ещё что-нибудь расскажет? Или я сам спрошу. Пока я искал предлог, в старую избу прибежала бабушка.

– Серёжа, вставай! – кликнула она. – Тебя дедушка зовёт.

Я полетел в новую избу, однако сразу за порогом обвьял и ощутил дрожь: даже запах в доме был другой, знакомый и незнакомый одновременно, почему-то пахло вереском и свежескопанной землёй. Дед лежал в горнице возле открытого окна, затянутого марлей, рядом на столе ярко горела семилинейная керосиновая лампа, которую берегли и зажигали в исключительных случаях, когда требовалось много света. Было полное ощущение, что он спит, но когда я на цыпочках проник в горницу, дед открыл глаза.

– Серёга...

Он ещё узнавал лица и даже улыбался. Рядом на табуретке сидел отец и держал дедовы руки в своих, за его плечом стояла матушка, ближе к изголовью села бабушка, и мне не хватало места, разве что у ног.

– Подойди ко мне, – сказал дед. – А вы ступайте.

– И я тоже? – будто обиженный мальчишка, спросил отец.

Он был любимым и единственный его сын; ещё двое и дочь умерли от скарлатины в двадцатых, когда дед в очередной раз ушёл на заработки.

Возникло недоумённое замешательство, все переглядывались, но никто не уходил, возможно, боялись оставить меня одного с дедом, вдруг я испугаюсь, заикаться начну (было такое поверье: мол, нельзя оставлять детей одних рядом с умирающим), или всё ещё считали, что он заговаривается, и потому выполнять его требования не обязательно.

Я протиснулся между бабушкой и отцом.

– Ничего, Серёга, – успокоил дед. – Ладно, пусть и они слушают, всё одно бестолковые да слепошарые, ничего не поймут. Мне уж не сходить с тобой на рыбалку, а так хотелось валька поймать. Он сейчас здорово берёт, только успевай забрасывать. Я место знаю, где клюёт, и тебе скажу... За горой Манарагой, на Ледяном озере. Ты ведь знаешь, где Манарага? А Ледяное озеро как раз за речкой будет. Валёк туда икру метать заходит. Не смотри, что озеро глухое, это так кажется. Там много речек впадает и вытекает, только под землёй... Но гляди, никому! Рот на крючок. Гой мне точный срок отмерил, и я уже не встану, ты дуй-ка один.

– Я не знаю, где такая гора, – сквозь зубы сказал я, чтоб не разреветься.

– Ну, уж Манарагу-то всяко найдёшь! – отмахнулся дед вялой рукой. – Приметная горка, высокая. Там наверху ещё люди стоят... А как озеро найти – научу. Значит, когда наверх залезешь, гляди на юг, в ведренную погоду его видать, вёрст восемь напрямую-то. Оно то белое, то синее, а то огненное, если на закате, и круглое. С задней стороны у него скалы отвесные, эдаким полукружьем стоят, а спереди открытое место. Приметное озеро-то. Спустишься с горы – река Манарага будет. Она шумная, да не глубокая в том месте, так вброд перейдёшь. А там немного поднимешься – и вот тебе Ледяное озеро. Только выходи рано утром и всё время иди прямо на солнце. Оно идёт – и ты иди, и к обеду точно на берег выведет. Где валёк клюёт, найдёшь, место тебе само покажется. Да я и приметил, удилище воткнул. Увидишь там Гоя, смотри, на глаза ему не показывайся, не то заберёт. Поди, не забыл своего обещания...

Я уже ничего не мог спросить: ком стоял в горле и слёзы давили – моргнуть нельзя. Дед нам запрещал плакать и всегда сердился и ругался, если кто-то ревел.

– Сейчас иди и ложись, – приказал он. – Да завтра-то не ходи, похоронишь меня, тогда уж... Все идите спать. Чего расселись? Чего ждёте? Думаете, ещё что скажу?

Дед больше не обронил ни слова. Потом бабушка рассказывала, что он закрыл глаза и будто уснул. Родители не отходили от него – так и просидели возле постели до зари, думая, что он спит, и лишь после этого спохватились, обнаружили, что дед давно отошёл, и завесили зеркало...

Три слова

Два этих странных, грохочущих слова – «Карна» и «Манарага» – врезались в сознание с детства, и потом я жил и долго ни от кого их больше не слышал. Третьим было «Ура», однако, привычное, оно не звучало так завораживающе. После смерти деда несколько лет я осторожно, будто между прочим, спрашивал, где находятся гора Манарага и река Ура, у всех людей, кому доверял. Образованный дядя Саша Русинов, окончивший лесной техникум и изучавший топографию, ничего не знал, но, чтобы не ударить в грязь лицом, сказал, что племя гоев живёт в Дагестане и один представитель его есть на лесоучастке и фамилия у него – Гоев. Река Ура течёт в Уругвае, сказал он, а гора Манарага стоит в Испании.

Я ему не поверил, ибо мой дед никогда в этих краях не был и быть не мог.

Киномеханик дядя Гена Колотов, посмотревший в своей жизни тысячу самых разных фильмов, что-то такое видел, только вот в каком кино точно не помнил, но приблизительно в индийском. Дядя Паша Кудинов, живший в городе Томске и приезжавший на диковинном тогда у нас автомобиле «Москвич» (даже галстук носил и красивые запонки), посмотрел на меня как-то очень уж внимательно и ответил осторожно:

– Таких названий я никогда не встречал...

– А имя Карна есть?

– Возможно, есть, только нерусское.

Потом он сказал родителям, что у меня какие-то странные вопросы и фантазии, неплохо бы показать меня врачу, пока не поздно. Отец к моему любопытству относился с пониманием и лёгкостью, мол, возраст такой, интересно пацану, вырастет, и всё пройдёт, ружьё ему да весло – вот его ремесло. А матушка моя на пятом году от явления Гоя сама заболела базедовой болезнью, стала молчаливой, задумчивой, как наша река по вечерам, и чаще всего отвечала невпопад. Бабушка обычно отмахивалась – я не знаю, не приставай – и однажды заругалась: что ты, дескать, за дедом всякие глупости повторяешь? В бреду он был после *солнечного удара*, наговорил невесть что и тебе голову заморочил.

А я чувствовал, что она знает, но скрывает от меня правду, и она, эта правда, связана с чем-то очень важным и болезненным в её жизни.

И только спустя двадцать один год, когда я делал первую попытку написать повесть о своём деде, она сначала долго отбояривалась – дескать, задурил тебе голову дед с малолетства, – но всё-таки кое-что приоткрыла.

Оказывается, всю жизнь бабушка страдала от ревности: женщина, подобравшая моего тифозного деда на станции, сделала это будто бы не бескорыстно. Выходить-то она его выходила, но женила потом на своей дочери-перестарке. У них родился ребёнок, мальчик по имени Олег. Вскоре дед сбежал от своих спасителей, однако всегда помнил о сыне, а бабушке от этого было, как ножом по сердцу. Обиженная навек, она ревновала его, отпуская на отхожий промысел (верно, бабёнку завёл, а иначе что ездит-то?), и проводила аналогию с событиями осени сорок четвёртого, когда Карна водила деда на реку Ура. Он эту Карну звал в полубреду, когда сильно болел, имя её бабушке казалось зловещим...

Последний раз я спрашивал о тех таинственных горе и реке уже в пятом классе, у своей учительницы русского языка и литературы Юлии Леонидовны.

В Торбу, где жили в основном ссыльнопоселенцы, вербованные да сибулонцы и нравы царили соответствующие, она приехала на преддипломную практику. Когда вошла в наш класс, показалось, явилось чудо – тоненькая, нежная. Тяжёлые длинные волосы каштанового цвета всё время клонили маленькую головку на одну сторону, и негромкий завораживающий голос звучал, будто весенний ручеек. Ей сразу же дали прозвище – Удочка, может, потому, что всё время кивала, а точнее, клевала головой. А я влюбился сразу и от этого целую зиму старательно

изучал её предметы, даже пятёрки получал, чтобы обратила внимание. Мне не хватало уроков, я не мог на неё насмотреться и торчал под дверьми других классов, где она вела литературу, или поджидал на улице в укромном месте, чтоб не заметила.

Поговорить с ней я осмелился, когда мы остались вдвоём: она что-то записывала в журнал, а я мыл полы в классе.

– В институте всему учат? – поинтересовался для порядка и без всякой задней мысли.

– Практически да, – отозвалась Юлия Леонидовна. – Всё зависит от того, чему сам человек научится.

– А вы знаете, от чего происходит солнечный удар? – спросил я, ворочая парты и показывая свою силу.

Она округлила глаза и, кажется, наконец-то рассмотрела меня.

– Если человек перегреется на солнце...

Мне чудилось, что у нас складывается вполне научный разговор и ей со мной интересно.

– Нет, если человек перегреется, у него будет тепловой удар! – Чёрт меня дёрнул заспорить. – Это я читал. А от чего бывает солнечный? Чем солнце бьёт? Лучами? Или светом? Но я пробовал целый день сидеть голым, только шкура облезла потом, и всё.

– Любопытно, никогда не задумывалась, – рассмеялась она, и я понял, что час настал.

– Где находится гора Манарага?

– Манарага?.. Посмотри на карте.

– Смотрел, нету. И реки Манараги нету.

– Наверное, это очень маленькая гора, если её нет на карте, – объяснила Юлия Леонидовна.

– А почему, когда в атаку бегут, кричат – «ура!»?

– Это боевой клич.

– А почему тогда река называется Ура?

– Разве есть такая река?

– Есть, далеко на севере, где была война, – охотно объяснил я. – Может, там наши ходили в атаку, кричали «ура!» и потому так называли?

– Откуда ты знаешь, что на севере?

– Читал!

– Молодец! – искренне похвалила Юлия Леонидовна. – Это хорошо, что ты много читаешь. Наверное, у вас есть домашняя библиотека?

– Есть! – соврал я, хотя в доме были только школьные книжки, журналы «Охота» и «Огонёк» да с десятков полурастерзанных томов без начала и конца. Но сестра училась на два класса выше меня, и я читал учебники за седьмой класс.

– Но учишься ты неважно. – Она посмотрела в журнале. – По всем точным дисциплинам у тебя тройки.

Мне не нравилась эта тема, и я решил на последний вопрос:

– А Карны на свете бывают?

– Карны? – отчего-то насторожилась Юлия Леонидовна. – Кто это?

– Ну, это такие женщины, которые отводят убитых в рай.

Она почему-то испугалась, вероятно, боялась мертвецов, встала и заволновалась.

– Какие необычные вопросы у тебя. Карны... Ты, наверное, читаешь взрослые книжки?

– Читаю, – соврал я.

– Нужно читать книги соответственно возрасту. Сейчас я дам тебе Гайдара. – Она достала из шкафа толстую книгу. – Вот возьми. У вас дома такой нет.

Я был уверен: она тоже, как все, не знала и, может быть, впервые слышала имя Карна, однако спрашивать про гоев и спорить больше не стал, взял книжку и ушёл радостный, потому что у нас налажился контакт.

Спустя несколько дней она сама оставила меня после уроков и, показалось, была чем-то смущена.

– Ты от кого услышал это имя?

– Какое имя?

– Карна.

Я чуть не выпалил, от кого, но вовремя вспомнил наказ деда – рот на крючок!

– Это я прочитал, – опять соврал, не моргнув глазом.

– А в какой книге? – Хотела поймать.

– Не знаю, корок не было. Батя из макулатуры принёс.

Раньше охотники-промысловики работали от селпо, где вместе с ягодой, грибами и пушниной заготавливали бумагу и тряпки. Отец действительно иногда привозил домой драные книги, и это был единственный источник пополнения «библиотеки».

– Про что ещё там написано, помнишь? Про Манарагу и реку Ура?

– Ну!

– Никогда не нужно лгать, – ласково проговорила Юлия Леонидовна и осторожно погладила меня по голове. – Возьми себе это за правило.

Она ещё не знала о моих чувствах, и что малейшее «лишнее» внимание действует, словно кипяток. Я онемел, покраснел и убежал, как ошпаренный, и потом пропустил несколько её уроков, таким образом избегая встреч. Мне казалось, вернее я воображал, что она и есть Карна, только совсем молоденькая и неопытная, а я узнал про это и её напугал.

Должно быть, Юлия Леонидовна догадалась, что происходит, никому жаловаться не стала, а подкараулила меня на дороге, когда я шёл домой.

– Вот ты мне и попался! – Говорить строго она не умела, но старалась. – Ты почему не ходишь на мои уроки? Если не будешь учить русского языка и литературы, останешься человеком с *мёртвым сознанием*.

Я проглотил язык и не мог поднять глаз: почему-то вне класса голос её был совершенно иным и очаровывал.

Юлия Леонидовна подобрела, держась на расстоянии, подала книжку, завернутую в газету.

– Возьми. Здесь в одном месте упоминается твоя Карна. Только прочитай всё и найди.

Это было неведомое тогда мне «Слово о полку Игореве»...

Она будто бы хотела уйти, даже ручкой помахала, но вдруг улыбнулась, заклевала головой и приблизилась на опасное расстояние – я почуял тончайший запах духов.

– Скажи, откуда ты знаешь о Карне?

Наверное, я бы признался ей и выдал тайну деда, но у меня кружилась голова и земля уходила из-под ног.

– Кто она? Богиня? Княгиня смерти? Или просто плакальщица?

Я молчал, как партизан на допросе. Возможно, в этот миг и родился комплекс: в присутствии женщины, которая мне нравится, я всегда теряю дар речи.

– А кто рассказывал о горе Манараге? – допытывалась она. – Это у вас в семье говорят? Может, существует такое предание? Почему ты молчишь? Не хочешь со мной разговаривать? Или тебе запретили говорить?.. Ну хорошо, ты можешь сказать, как тебя вылечили? Люди говорят, к вам какой-то человек пришёл и велел красного быка найти... Помнишь? Твои родители ездили и искали быка... Ты же запомнил этого человека? Как его звали? Он был знахарь? Колдун или чародей?

Юлия Леонидовна лишь усугубляла дело, ибо меня уже однажды учили помалкивать о том, что говорят в семье. Тем более я не мог выдать Гоя!

– Понимаешь, я собираю фольклор и записываю древние обряды. – Она покивала головой, справляясь с тяжестью волос. – Мне дали такое задание в институте, а потом мне самой

очень интересно. Я бы тоже хотела научиться лечить людей, произносить древние заклинания. Если бы ты рассказал, откуда знаешь о Карне, Манараге и реке Ура, то очень бы помог мне. Или об этом знахаре, который тебя вылечил. Ты ведь знаешь, где он живёт?

При этом Юлия Леонидовна взяла меня под руку, будто бы прогуляться, но это её движение не взволновало, а вдруг насторожило.

– Я узнала, гора Манарага находится на Приполярном Урале, а река Ура действительно на севере, в Мурманской области. Почему ты о них спрашивал? Чем они связаны – гора, река и Карна? Кто в вашей семье об этом говорил? Ты же умный парень, ты мне скажешь.

Она хотела поймать меня на голый крючок!

Высвободив руку, я сунул ей книжку и побежал, боясь сморгнуть, чтоб не потекли слёзы. Отчего-то неясная обида щемила сердце.

На следующий день я опять не пошёл на занятия к Удочке, проболтался всё утро в весеннем лесу и явился в школу только на третий урок. И сразу понял, что Юлии Леонидовны ни в учительской, ни в классах нет. На перемене сбегал в барак, где она жила, – замок на двери! Первое, что пришло в голову, – моя возлюбленная обиделась, из-за меня не собрала свой фольклор и уехала из посёлка насовсем.

И никогда её больше не увижу!

В тот момент я готов был выдать ей любые тайны, даже про Ледяное озеро рассказать, где клюёт рыба валёк с золотом в брюхе. В тоске и печали просидел на вскрывшейся реке до вечера и вернулся домой – под отцовский ремень.

Сначала батя выдрал меня от души и лишь потом спросил, знаю ли, за что. Я ответил без запинки, на всякий случай признавшись сразу во всех грехах.

– В следующий раз отниму ружьё, – пригрозил он самым страшным наказанием.

Уже год было, как матушка умерла, и поэтому словесным воспитанием пятерых детей занималась бабушка. Она и сказала, что к нам приходила учительница Юлия Леонидовна, пожаловалась, что я уже неделю пропускаю её уроки и отца не вызывают в школу, а меня не тащат на педсовет лишь потому, что мы остались сиротами и ещё не пережили горе – жалеют.

Спустя некоторое время после экзекуции бабушка вспомнила ещё один мой проступок – болтливость. Мол, с чего это вдруг Удочка расспрашивать стала про какие-то горы, реки и эту женщину – Карну? Ты что, дескать, людям всякий бред пересказываешь? Что они про тебя подумать могут? И вообще про нашу семью? Придержи язык!

Я был оглушён и растерзан, всё это напоминало предательство или, хуже того – месть, однако наутро исправно явился на урок Удочки и сел за первую парту – туда, где всю зиму сидел, чтоб смотреть на неё и внимать каждому слову. И сразу же заметил, как ей было стыдно, хотя под школьной гимнастёркой она не видела моей спины. Юлия Леонидовна то и дело спотыкалась, замолкала, сбивалась и ещё больше клевала головой, измученная грузом волос. Наконец, ещё до звонка отпустила нас, убежала в учительскую, а потом и вовсе к себе в барак – сказали, у неё голова разболелась, и заменили литературу на труд.

У нас всё меняли на труд – и весёлый Лентифеич учил делать табуретки...

Мне стало так жаль её, что я и о предательстве вмиг забыл, а после уроков набрался храбрости, окольными путями прокрался в барак и дерзко постучал в учительскую дверь.

Обстановка в этих бараках была неисправимо убогая, и что ни делай, какие занавески ни вешай и ни застилаи полы, всё равно из всех углов вместе с холодом и крысами будут вползать нищета и неустроенность.

Потом я всегда вспоминал этот первый и последний визит к Юлии Леонидовне, когда видел картину «Княжна Тараканова». Моя учительница почему-то стояла на кровати, обняв себя за плечи, с видом потерянным и отрешённым.

– Знала, что придёшь, – сказала, глядя куда-то мимо. – Ну что же, садись, начнём урок.

Её слова пугали и сеяли неясные надежды одновременно. Я стоял у порога, готовый в любой момент открыть спиной дверь и исчезнуть.

– Ты знаешь, что меня ждёт? – Она говорила будто бы сама с собой. – Нет, ты счастлив в своём мире и потому представить себе не можешь. Хотя ты уже совсем взрослый и много что понимаешь... Через год я закончу институт и получу диплом филолога. По распределению меня зашлют в какую-нибудь дыру, вроде вашей деревни, и поселят вот в такой барак. На целых три года. Я быстро забуду, чему меня учили и что я хотела от жизни. Целый день я буду вколачивать в ваши головы ерундовые знания, а вечером выть от тоски. Выть!.. И от тоски же выйду замуж за какого-нибудь вербованного или сибулонца. Он будет валить лес, пить водку, ругаться матом и ревновать меня. Когда же пройдут эти страшные три года, я превращусь в бабу и уехать оттуда не захочу. И не смогу. Потому что произойдёт полная деградация, и убогая жизнь тоже покажется жизнью...

К тому времени я уже знал, что такое безысходность, и вкусил её сполна, когда увидел свою матушку в гробу. Несколько дней потом ходил по лесу возле Божьего озера и думал, что на земле всё есть, всё существует – деревья стоят, видевшие маму и жившие вместе с ней, вода течёт, в которую она смотрелась, птицы поют, коровы мычат, даже червяки в земле ползают, а матушки моей уже нет! И никогда-никогда не будет!

Но Юлия Леонидовна была жива, здорова и красива, у неё не умерла мама, никто её не стегал ремнём, не ставил к доске или в угол, наконец, не ограничивал свободу – делай что хочешь!

Она спустилась с кровати на пол, взяв меня за руку, провела к столу и усадила на табурет.

– А ты почему-то не хочешь мне помочь, – проговорила тихо и ласково, присев на корточки возле меня. – Ведь это ты вселил надежду, ты поманил меня этими волшебными словами и образами. Теперь я всё время повторяю – Манарага, Ура, Карна... Я слышу, я чувствую, за ними кроется нечто необычное, великое! Это не просто фольклор, песни и частушки, это ключи к открытию, понимаешь? Если бы ты мне рассказал, откуда знаешь эти слова, что с ними связано, я могла бы привезти хороший, интересный материал, и тогда бы меня приняли в аспирантуру, без распределения. Ты ведь не хочешь, чтобы я погибла в вашей Торбе?

Я не хотел, чтоб она погибла, но её вкрадчивость и какая-то униженность настораживали, ибо всё это отдавало обманом. К тому же я не видел ничего зазорного в нашей жизни и не понимал, отчего ей так не хочется ехать в Торбу. Закончила бы свой институт, поработала бы в нашей школе, а там, глядишь, я вырасту и женюсь на ней.

– Догадываюсь, ты связан клятвенным словом, правда? – Она пыталась смотреть мне в глаза. – И все твои родственники не говорят, потому что дали обещание... Хорошо, больше не буду спрашивать. В конце концов, могу сама найти ответы, в этом и заключается научный поиск. Только скажи, кому ты давал слово? Тому человеку, который вылечил тебя? С помощью шкуры красного быка?

Она опутывала меня своей журчащей речью, словно тенётами, и чем ласковее говорила, тем больше я понимал, что меня хотят обмануть, выманить самое дорогое и сокровенное. Мне становилось так стыдно, что я взглянуть прямо не мог, поскольку передо мной был не кто-то чужой и хитрый, а моя пусть ещё по-детски, но возлюбленная.

И одновременно испытывал другое чувство – возрастающее любопытство к тайне этих трёх слов-образов: если умная и красивая Юлия Леонидовна так страстно и отчаянно хочет узнать о какой-то реке, о горé и о женщине по имени Карна, значит, в них действительно заложен великий смысл, и рыба валёк, наглотававшаяся золота, не бред моего деда...

Тем временем она пошла на крайние, запрещённые меры – это я осознал потом, когда повзрослел, хотя и в тот миг понимал, что происходит. Если бы Юлия Леонидовна ничего не требовала от меня, не обманывала и не хитрила, то, пожалуй, исполнилось бы моё самое сокровенное желание. Она приподняла мою голову, и сначала показалось, понюхать хочет –

курил ли я? (Учительницы нас часто обнюхивали после перемен, поскольку мы бегали курить за мастерскую, и они так опасно приближали свои лица, что становилось страшно.) Но Юлия Леонидовна вдруг наклонилась совсем близко и поцеловала в щёку. Не чмокнула по-матерински, а именно поцеловала и ещё дохнула горячим шёпотом:

– Я же знаю, ты любишь меня, а все влюблённые – добрые...

Хорошо, что дверь её комнаты в бараке открывалась наружу, иначе бы я вышиб её. Уже невзирая на соседей, пронёсся по коридору и чуть не слетел с высокого крыльца.

Казалось, все видят меня, тычут пальцами и смеются!

Я убежал на нижний склад, забился в штабель с лесом и, не зная, как избавиться от жгучего, волнующего чувства и одновременно от липкого стыда, сначала долго и тщательно вытирал лицо, руки, но лишь перемазался смолой, истекающей из сосновых брёвен. Тогда я отправился на берег, разделся и искупался в ледяной полой воде, отмылся с песком и от холода немного пришёл в себя. Однако возвращаться домой было ещё совестно – вдруг сразу всё увидят и поймут? Даже по дороге идти неловко, ну как знакомые встретятся? Я пробрался все семь километров лесом и, не показываясь на глаза домашним, двинул к Божьему озеру.

Сюда я приходил в самые тяжёлые минуты в любое время года, но уже не для того, чтобы найти жилище Гоя, хотя подспудная дума о нём всегда присутствовала; это было единственное место, где отступало горе, где всё становилось понятно и потому хорошо. Время больше не играло со мной злых шуток, заблудиться в этом древнем бору было невозможно, я знал «в лицо» все деревья, кусты вереска и даже лосих, которые приходили сюда в мае, чтоб рожать детей.

Повесив ранец с книжками на сук, я до вечера бродил между гигантских сосен, почему-то уже без стыда вспоминал, что произошло, и удивительное дело – всё прощал Юлии Леонидовне!

А на следующий день – литература была первым уроком – помчался в школу с искренним желанием её увидеть. Но в двух километрах от Торбы затопило болото, за ночь размыло песчаную дорожную насыпь, и образовалась настоящая река, глубиной до пояса. Я хотел обойти этот поток через сосновую гриву, «партизанской тропой», но там оказалось ещё глубже. Тогда я вернулся на дорогу, не раздеваясь, мужественно перебрёл реку, вылил воду из сапог (штаны и выкручивать не стал – дорогой просохнут) и припустил бегом, однако всё равно опоздал на урок.

И тут произошло непоправимое – нежная Юлия Леонидовна с неведомой прежде жёсткостью вытолкнула меня из класса, объявив вдогонку, что я получаю «неуд» за последнюю четверть...

Я залез за школьную печку в коридоре и оплакал свою любовь.

* * *

Спрашивать больше было не у кого, людей, кому можно доверять, соответственно с возрастом становилось всё меньше и меньше. Выход оставался единственный – скорее вырываться, выламываться из детства и искать самому. Неожиданный огонь, зароненный дедом, с годами не угасал, хотя тепло его в разные периоды жизни казалось далёким и напоминало лунный свет, однако начинало греть, как только я ощущал относительную свободу. Лесоучасток в Торбе закрылся, а вместе с ним и школа; лёгкий на подъём полубродяжий народ в течение одного года растёкся по другим посёлкам, но напоследок лесорубы сделали своё чёрное дело: подбирая остатки бывшего таёжного величия, смахнули бор возле Божьего озера. Сосны толщиной до полутора метров оттрелевали на нижний склад, раскряжевали, сложили в гигантский штабель, но спустить в реку уже не успели – до нового половодья Торба не дожила. Брёвна как-то очень уж быстро сгнили в прах, сверху их присыпало листвой и пылью; сначала там выросла

трава, потом – кустарники и деревья, сейчас виден лишь курган с чистым берёзовым лесом, где уже несколько лет живёт сокол-сапсан.

У меня всегда возникает чувство, что под курганом лежат кости...

Мы тоже уехали из нашей деревни в районный центр Зырянское, оставив на торбинском кладбище могилы двух самых дорогих людей, матушки и деда. Вместе с переездом закончилась и наша вольница в прямом смысле.

Жизнь в большом посёлке стала совсем иной, зависимой от всяческих условностей, причин и обстоятельств. Казалось, и люди кругом другие, и звёзды над головой не такие, и солнце мутное, пыльное, словно в пустыне. Но зато здесь были библиотека и книжный магазин. Правда, уже через полгода выяснилось, что нужных книг нет, о Манараге я вообще не нашёл ни слова, река Ура упоминалась единственный раз, и то в связи с Ура-губой, куда впадала.

Но здесь наконец-то я заполучил «Слово о полку Игореве» и прочитал это упоминание: «За ним кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли смагу людем мычючи в пламяне розе».

И ничего не понял, впрочем, как и все исследователи этого литературного памятника, лишь раззадорился (появилось ещё больше вопросов) и вместе с тем ещё раз удостоверился и как бы обновил память: не обманул дед! Не в бреду, не под воздействием *солнечного удара* назвал он это имя – Карна!

А таинственное «Слово» он не читал уж точно, ибо просто был «негр».

После восьмого класса я завис в неопределённости, как в невесомости. Надо было или идти в девятый, или выбирать профессию, а хотелось много чего: ещё не отболело желание пойти отцовским следом в охотники. Начитался я Федосеева, и поманило в геологию; когда глядел на самолёты в небе, тянуло в авиацию (пока приписная комиссия не забрала по зрению); была мысль пойти в механизаторы, как все, и даже в киномеханики. Но никуда не шёл, поскольку ни одно это дело никак не соприкасалось с моим, ещё детским устремлением к тайне трёх, заповеданных дедом слов.

Батя смотрел, смотрел на всё это и ближе к осени нашёл мне тёплое место – в кузнице промкомбината, молотобойцем. Целый год я махал кувалдой, ковал железо, а сам думал, точнее, будто от *солнечного удара* бредил думами о своей Карне, о неведомых реках и горе, неподалёку от которой есть Ледяное озеро с рыбой валёк. Была мысль заработать денег и поехать на Урал (я даже купил себе велосипед «Урал» и мечтал о мотоцикле с таким же названием), однако в середине зимы неожиданно определился с профессией – пойти в геологи! Во-первых, они работают в горах и тайге, живут бродяжьей походной жизнью, что было мне по душе. Во-вторых, можно устроиться в экспедицию, работающую на Урале, где-нибудь поблизости от Манараги, или в Мурманской области, где протекает Ура.

Наконец, я знаю (может быть, один в мире!) секрет, как и в каких реках и ручьях следует искать золотые россыпи.

И ещё, геологи острее всех чувствуют природу – леса, горы, камни, реки и озёра, много видят и слышат, будет у кого спросить о Карне, например. А где-нибудь обязательно её встречу. Или даже самого Гоя, и если повезёт, доберусь до Ледяного озера, где поймаю свою золотую рыбку...

Я поступил в геологоразведочный техникум, однако судьба вела, разрушая мои замыслы и одновременно пробивая свой путь. Тогда я этого ещё не понимал, не знал своего рока, но интуитивно ему повиновался или был вынужден это делать, иногда из-под палки. В семидесятом забрали в армию с третьего курса. Служил в городе Электросталь, но потом неожиданно попал в Москву, в батальон особого назначения (ОМСБОН), который охранял ЦК КПСС и объекты Третьего спецотдела Министерства финансов СССР – то есть хранилища золотого запаса и предприятия по разборке и обработке алмазов.

Ещё не поймав валька, я увидел столько золота, что резко потерял к нему всяческий интерес.

Всегда думал, что драгоценности производят на человека какое-то особое впечатление. Народ у нас служил самый разный (правда, только славяне), но за два года не встретил ни одного, кто бы проявил некие специфические чувства; напротив, были ребята, у которых этот металл вызывал угнетённое состояние, чувство тяжести, головные боли и полное, думаю, искреннее отвращение. На маленькие объекты я ходил начальником караула, имел право входить в цеха и хранилища, но, к своему собственному удивлению, испытывал абсолютное спокойствие и даже безразличие к драгоценностям. Например, в алмазных разборках сидят девчонки и сортируют камушки, у каждой на столе эдак каратов по сто насыпано в фаянсовую пиалу, и самих девчонок в зале тоже около сотни, и все невероятно симпатичные для солдатского глаза – не оторваться.

А золото... Когда перед тобой его многие сотни тонн, оно вообще не вызывает никаких чувств, просто – штабеля ящиков из многослойной фанеры с верёвочными ручками и весом по шестьдесят килограммов каждый. Серебро – так и вовсе сложено поленицами из слитков, как дрова или чугун. Приезжают бронированные фургоны, привозят или увозят сразу тонны по три, и грузчики в синих халатах таскают эти ящики, как бы таскали, например, картошку в овощном магазине. Разве что выглядят интеллигентно, чисто выбриты и слегка надушены.

Правда, один раз глаза загорелись, когда на объект (18-й караул) привезли на разборку большую золотую вазу, усыпанную бриллиантами. Изготовлена она была, чтобы Брежнев преподнёс её какому-то африканскому королю, но тот переметнулся к американцам, подарок оказался неуместен, и чтобы не выдавать намерений нашего вождя, произведение искусства решили уничтожить, несмотря на высокую художественную ценность, – подобные вещи я видел только в Алмазном фонде. Если б чёрный король посмотрел заранее, что ему хотели подарить, никогда бы нас не предал и на эту вазу мог бы кормить своё государство лет пять – так сказал мастер, который вынужден был выковыривать камушки, распаивать вазу на составные части и совать их в пресс. Он разрешил мне подержать в руках этот шедевр, мол, потом вспоминать будешь, внукам расскажешь, ведь больше этой красоты никто не увидит...

Вообще армия была для меня цепью самых разных искушений: от возможности остаться старшиной в своей роте и поступить, например, в военное училище или московский гражданский ВУЗ до службы в Третьем спецотделе и даже женитьбы на «алмазной» девушке-москвичке (моя подруга Надежда не дождалась, вышла замуж через полгода моей службы и даже фотографии со свадьбы прислала, чтобы я полюбовался, какой красивой она была невестой).

Перед демобилизацией вербовщики с большими погонами из ОМСБОНа не вылазили, предлагали хорошие оклады, быстрое продвижение по службе, квартиры в Москве, учёбу, загоняли в угол тем, что наш батальон – кузница кадров и, если не согласимся, от нас не отстанут и по месту жительства, хоть в милицию, но всё равно завербуют.

Однако я чувствовал невероятное, необъяснимое внутреннее сопротивление и отбивался, как мог. Перед глазами маячила Манарага, текла река Ура, а впереди шла Карна в синем плаще. В результате нас с другим, тоже стойким старшиной ротный проводил до КПП и выпихнул за ворота.

Только мой каптёр Савчук открыл окно в туалете на третьем этаже и сыграл нам на гармошке марш «Прощание славянки», пока мы шли через плац.

* * *

После техникума я получил свободный диплом и сразу же рванул на Урал, но в аэропорту Свердловска встретил однополчанина Толю Стрельникова, с которым вместе учились в сержантской школе, тоже геолога, выпускника Миасского техникума. Он распределился в Красноярское геологоуправление, в какую-то сверхсекретную экспедицию, которая только что организована и будет работать на Таймыре; что искать – неизвестно, но только не уран. Я был

так близко от Манараги, что мысленно видел её вершину, склоны и даже белое, синее или огненное Ледяное озеро; я уже шёл к нему и смотрел, где мой дед приметил место, воткнув удилище, и в рюкзаке лежал полный набор рыболовных снастей.

План был по-детски наивный и дерзкий: отловить валька, выпотрошить и приехать в местное геологоуправление с конкретным результатом – горстью самородков. А потом показать, где и как следует добывать золото.

Но Толя неожиданно заговорил про рыбалку, дескать, на Таймыре такие озёра есть, что в некоторых даже валёк клюёт. Показалось, я ослышался, потому что ещё ни от кого, кроме деда, о вальке не слышал.

– Это что за рыба такая? – шалея, спросил я.

– Да я сам не ловил... – признался он. – Но говорят, доисторическая, старше динозавров, жила во времена, когда у Земли было два спутника и другое земное притяжение.

– И что, просто клюёт на удочку?

– Говорят, клюёт. Только об этом никому ни слова. Я о вальке тебе ничего не говорил. Понимаешь, не моя тайна...

Толя Стрельников был родом с Южного Урала и вполне мог слышать о Ледяном озере и золотоносной рыбке, так что охотник на неё я был не один.

– Ну что, поехали на Таймыр?

Я сдал билет, купил новый, в Красноярск, и через два часа улетел от своей мечты. Там действительно формировалась Полярная экспедиция, человек пять геологов уже месяц томились на базе в общежитии, ожидая результатов всевозможных спецпроверок, а нам со Стрельниковым помогла армейская служба. Через несколько дней получили все пропуска и допуски, сели в самолёт и улетели на Таймыр. Только вот по-прежнему не знали, что едем искать!

И лишь в Хатанге, на базе экспедиции, в вагончике у главного геолога нам открыли эту сверхсекретную тайну. Ну конечно же, алмазы! Причём необычные, космического происхождения, потому что работать предстояло в астроблеме, то есть в звёздной ране, а проще говоря, на дне метеоритного кратера. Толик был ростом под два метра, отчего служил в парадном полку (был такой в дивизии Дзержинского), топал по Красной площади и золотого порошу не нюхал, потому вдохновился, загорелся страстным желанием искать драгоценные камушки и на рыбалку ходил редко. А я бегал от озера к озеру сначала с удочками, потом со спиннингом и сетями, однако доисторическая рыбка не клевала! Та же, что удавалось поймать, оказывалась то чиром, то сигом, омулем или простой ряпушкой. Возникло подозрение, что Стрельников заманил меня вальком на Таймыр, чтоб одному не ехать, и когда началась зима с полярной ночью, пургой по три недели кряду и жизнью в замкнутом пространстве вагончика, как на космическом корабле, нервы не выдержали, и я сказал Толику всё, что думаю.

Он клялся и божился, что не обманывал меня, и валёк в таймырских речках и озёрах действительно водится, и это он знает от совершенно надёжного человека. Другое дело, поймать редкостную рыбку удаётся не всем. Мол, и наплевать на неё, в конце концов, мы приехали сюда не валька ловить, посмотри, какая интересная здесь работа – искать алмазы!

Мне уже ничего тут не нравилось; едва дожив до весны, начал киснуть, поскольку эти самые алмазы буквально валялись под ногами, стоит лишь наклониться, поднять любой камень и расколоть. На руде стояли палатки и вагончики, по ней ездили на тягачах и оленях, она лежала на каменке в бане, и мы плескали на неё кипятком. Содержание драгоценного минерала на тонну породы в сорок раз превышало все известные, например, в кимберлитовых трубках Якутии. Только алмаз был не тот, что гранят, оправляют золотом и носят в виде украшений. Этот был техническим, им армировали резцы для сверхточной обработки металла и камня, его загоняли в буровые коронки, наждачные круги и пилы, однако человеческий разум не мог ещё придумать такой техники и технологии, чтоб отделить его от крепчайшей породы.

На Таймыре мне впервые приснилась Манарага, которую прежде я не видел: довольно пологие склоны, поднимающиеся от подошвы, но выше они становились круче, круче, и сама вершина представляла собой более десятка конусообразных столбов с каменными осыпями у основания. Будто я стою внизу, надо подниматься, но меня охватывает жуть, ни рукой ни ногой не пошевелить. А кто-то говорит, мол, что же ты, пришёл к горе, а подняться боишься? Давай иди, это же и есть Манарага! Будто я всё-таки пошёл и добрался до самых зубьев на вершине, но склоны на глазах вздыбились, и я повис на руках.

Подо мной оказалась бездна! И я будто уже знаю, что непременно рухну вниз и погибну, если не проснусь.

Проснулся – сердце выпрыгивало. Мы жили в маленьком, по трубу замётённом снегом вагончике, печь топили круглые сутки бурым каменным углём, так что кислород сильно выгорал, а ещё, как известно, чем ближе к Северному полюсу, тем его меньше. И я решил, что это состояние возникло из-за переизбытка углекислого газа. Чем-то ведь надо было объяснить свой ночной страх и кошмар, хотя Толик чувствовал себя превосходно, и от этого газа снились ему лишь прекрасные женщины да предстоящие экзамены: мы поступили на геолого-географический факультет в университете и готовились к первой сессии. Ничего ему рассказывать я не стал, думал, не повторится, однако после праздника встречи солнца (первый восход после полярной ночи) сон повторился почти в точности, но с развитым сюжетом. Когда я завис над пропастью, выше меня, на пике, появился Гой.

Я не помнил его лица, но тут увидел пожилого бородатого человека с немигающим, птичьим взором и палкой в руках, которой он погрозил и сказал:

– Не ходи на Манарагу!

На сей раз кислорода у нас хватало, потому что мы перебрались в «командирский» вагончик с подогревающимися от электричества полами, и я растолковал себе сон как сигнал, что пора на материк, на Урал, к заповедной горе, потому как во сне всё бывает наоборот. И как только принял решение, так сон этот больше не повторялся.

Уволиться сразу не получилось, не хватало геологов, и меня обещали отпустить в начале лета, как только прибудет замена – молодые специалисты. Улететь самовольно я не мог по одной причине – никто не пустит в вертолёт, другого транспорта отсюда на материк не было, а пешком нереально – шестьсот километров по тундре без карты не пройти.

В начале лета замена не приехала, а тут наступил полевой сезон, маршруты, и до осени об увольнении можно было забыть. Тем временем в экспедиции началась подготовка к зиме, и я отпросился у начальства курировать добычу бурого угля, чтоб остаться в посёлке и не отправляться с полевым отрядом на северный вал кратера: как только привезут молодняк по распределению, можно в тот же день рассчитаться и покинуть эти края.

Вскрышу угольного пласта делали на берегу реки, где он залегал на глубине около двух метров: снимали бульдозером растеплённый верхний грунт, оставляли на день, чтоб отошла мерзлота, и сгребали жижу. После третьей такой операции началось быстрое таяние (температура летом доходила до семнадцати градусов), в реку потёк сель, бульдозерист с экскаваторщиком ушли в посёлок, а я остался, чтоб подыскать и нарезать новый участок для вскрыши. Утром обнаружил какой-то объёмный предмет, выпирающий из мерзлоты. Всё было в грязи, и сначала я не мог понять, почему на глубине в полметра обнажился холм, поросший старой густой травой. Потом принёс ведро воды, отмыл небольшой фрагмент и вместо травы увидел желтовато-серую густую шерсть.

Земля в тундре – скованная мерзлотой жидкая трясина. Весь полярный день я сгонял метлой грязь, чтоб таяло быстрее, и к концу суток один бок животного почти обнажился. Это был молодой мамонт с метровыми искристо-белыми бивнями, совершенно целый и замороженный. Я накрыл тушу брезентом, придавил его камнями и побежал в посёлок.

От радости сердце выпрыгивало: для меня находка была дороже и интереснее алмазов. Сразу пришёл к начальнику экспедиции, рассказал – тот посадил в свой вездеход, и через полчаса мы были на берегу. Тогда я ещё не знал, был ли у него какой-то опыт относительно таких находок или нет, но он приказал мне никого к мамонту не подпускать, особенно бичей, и организовать охрану. Кроме того, вдоль берега уже бродили облезшие и обнаглевшие летом песцы. Сам же поехал на радиостанцию отправлять срочные радиogramмы в Красноярск и Академию наук СССР.

Первая ночь прошла почти спокойно, людей не было, а песцы подходили не ближе чем на сотню метров, но с ростом их количества увеличивалась смелость. Я выстрелил в их сторону единственный раз под утро, чтоб лечь и поспать часа два. Но проспал четыре, и когда выглянул из палатки, около трёх десятков песцов сидело по краю вскрыши, будто стая бродячих собак.

От ружейного дуплета мелкой дробью они разбежались, чтоб через четверть часа собраться вновь, но уже в удвоенном составе.

Патронов было – всего один патронташ, много не настреляешь, поэтому я взял лопату и сначала часа полтора разгонял текучую, как ртуть, стаю, потом завёл бульдозер и поставил его рядом с тушей мамонта. Гул двигателя отпугивал животных, но всё равно держались они на расстоянии в тридцать шагов и постепенно смелели.

Между тем сель из раскопа всё тёк и тёк, мамонт вытаивал, несмотря на брезент, а накрыть от солнца весь раскоп было нечем. К тому же трещащий бульдозер создавал вибрацию, помогал растеплению грунта и сам медленно погружался в грязь.

Я надеялся, что на третьи сутки учёные прилетят обязательно, поэтому надо день просто-ядь да ночь продержаться. К тому же вечером приехал начальник экспедиции, привёз продуктов, радиостанцию, две сотни патронов и сказал, что всё в порядке, завтра высылает вертолёт за учёными и уже запросил большой военный транспорт, чтобы взять мамонта на подвеску и доставить в Хатангу, где должен быть специальный грузовой самолёт с запасом жидкого азота. Напоследок попросил отмыть тушу, чтобы перед учёными не ударить в грязь лицом, и уехал.

Я считал, что никто в экспедиции о находке не знает, тем более начальник предупредил, чтоб всё осталось в тайне, однако информация каким-то образом вылезла наружу (скорее всего, через радиста, отправлявшего радиogramмы), и ночью на берег пришли несколько наших и питерских геологов. Они много спрашивали о мамонте, и я не мог отказать им, взяв с них обещание о полном молчании. Они помогали таскать с речки воду и мыть мамонта, после чего сфотографировались возле него, попросили разрешения выщипнуть по маленькой прядке шерсти для талисманов, ещё часа два гоняли палками песцов и ушли под утро.

И как только ушли, стая, разросшаяся до сотни, с визгом, воем и лаем устремила к туше, невзирая даже на работающий бульдозер. Наиболее смелые подскакивали вплотную, и мне пришлось стрелять этих мелких, но прожорливых и довольно злобных тварей – они огрызались, скалились на меня и даже пытались укусить. В принципе, их всех можно было перебить, но срабатывала крестьянско-охотничья натура – жалко портить, шкурка-то летом никуда не годится.

Часов до восьми я отбивал атаку за атакой, пока нахватавшиеся дрови песцы не отступили к краю вскрыши. Трёх застреленных выбросил из ямы, их тут же разорвали на куски и съели. Днём их пыл поубавился, я залез в кабину бульдозера и стал дремать, время от времени постреливая для остротки. К обеду учёные не прилетели, я связался по рации с начальником экспедиции и получил недовольный ответ, мол, сами ждём сигнала, вертолёт стоит в Хатанге с запущенным двигателем.

Как назло, дни стояли тёплые, мерзлота отходила быстро, на месте вскрыши образовался уже небольшой овраг, и туша не только вытаяла окончательно, а ещё и разморозилась и к вечеру слегка расплылась. Мамонт лежал на твёрдой, голой, без всяких растительных остатков почве, и даже растаявшая, она оставалась плотной, то есть это была та поверхность земли, на

которой он жил, по которой ходил и, видимо, умер от бескормицы, когда наступила долгая ледниковая зима.

Прямо передо мной открылась такая древняя эпоха, что от одной мысли холодило затылок! Я мог протянуть руку по крайней мере на двадцать тысяч лет назад и не только увидеть, а коснуться далёкого прошлого, пощупать его, ибо глаза никак не могли привыкнуть к такому чуду.

Теперь не помню, дремал я, сидя в бульдозере, или всё было наяву, но я до мельчайших деталей видел картины доледниковой эпохи – всё, от стад мамонтов до растений, в то время бывших на Таймыре. Причём мог тут же нарисовать (и рисовал потом) ландшафт с горами, озёрами и широколиственными лесами – всё до форм и видов деревьев, трав и даже семян.

Отмытый мамонт и в самом деле лежал, как живой, и когда я начинал долго смотреть ему в область полуприкрытого глаза (второй был внизу, у земли), мне казалось, что он просто спит, вернее, просыпается: вот дрогнуло веко, чуть собралась шкура возле уха, качнулся белый бивень...

Страшно до озноба и любопытно одновременно! И безудержная фантазия – ну как, согретый солнцем, оживёт? Бывают же чудеса!..

Но чудя в этот раз не случилось, учёные к вечеру не прилетели, а ночью прибежали шестеро горняков-бичей, сказали, пришли на выстрелы, узнать в чём дело, а сами сгорали от любопытства и спрашивали, годится ли мамонт в пищу. К туше я никого не подпустил, решил посмотреть с края оврага, и они стояли минут десять вместе с песцами, вызвались в помощники и потом ушли. К утру из посёлка притрусил собака, тут же была атакована песцами и сбежала, поджав хвост, но спустя час привела с собой всю свору и завязалась крупная драка. Лохматые ездовые лайки оказались песцам не по зубам, однако бились они насмерть, бросаясь десятками на каждую. Полчаса стоял рёв, рык, визг, ни те ни другие на выстрелы поверх голов не реагировали, и в результате песцы отступили, оставив задущенных сородичей и сдавая собакам довольно обширный сектор. Те сразу успокоились и устремили своё внимание к туше. Я знал всех экспедиционных собак, надеюсь, и они меня знали, однако окрики по кличкам не действовали, пришлось стрелять под ноги. На какое-то время они залегли среди земляных валов и лишь поскуливали.

Между тем снова кончались патроны, и я сел на рацию, но выяснилось, что начальник срочно вылетел в Хатангу, будто бы встречать учёных. Я попросил, чтоб привезли побольше дров и солярки, надеясь отгонять зверьё огнём – бульдозер дорабатывал остатки топлива, а слить его с экскаватора мне не удалось, впрочем, как и запустить двигатель. Часа через полтора из посёлка прибыл ГТТ с бочкой горючки, а вместо дров возникло человек пятнадцать любопытствующих (даже две поварахи приехали), которые выгрузились и остались на берегу (вездеход ушёл на буровую). С народом было труднее, чем с песцами и собаками, уговаривал, просил, спорил до хрипоты, поскольку каждый хотел не просто посмотреть, а и пощупать руками. Да не просто пощупать – вырвать клочок шерсти на талисман или сувенир.

И поголовно всех волновал полушутливый и навязчивый вопрос – можно ли есть мясо? И как бы так сделать, чтоб, пока не появились учёные, вырезать маленький кусочек, сварить и попробовать? До полудня я воевал с людьми, которых всегда считал нормальными и даже симпатичными и которые при виде пищи сделались одержимыми, как песцы.

Наконец, в небе на низкой высоте показался вертолёт, и я вздохнул облегчённо – летят! Машина опустилась на берег, заставив порскнуть зверьё в разные стороны, однако оттуда высадились пограничники с автоматами и подошли к яме разобраться, что здесь происходит. Не знаю, память ли далёких предков мгновенно просыпалась в людях, возбуждая воспоминания пещерного периода, или у этой страсти была иная природа, но и стражей границ интересовали те же самые вопросы, и они так же хотели нащипать шерсти, поесть мяса, словно вдруг все оголодали!

Кое-как отбилась и от них, правда, офицер всё равно подошёл к мамонту, выдернул клочок и пообещал, что за это покружит и погоняет песцов.

Едва пограничники улетели, как скопом навалилась толпа, мол, чужим разрешил, а нам нет? Ну и пошло-поехало, до матюгов, поварахи называли меня самого мамонтом, и это прозвище приклеилось надолго, пока не уехал с Таймыра. На моё счастье, скоро с буровой вернулся вездеход, однако четверо молодых ребят всё-таки остались, потеснили собак и расселись на валу.

Очередную ночь я ждал с ужасом, поскольку практически не спал четвёртые сутки и валялся с ног. Оставшиеся парни видели моё состояние и обещали, что будут охранять тушу, жечь ветошь с соляжкой и отстреливаться от зверей, дескать, ты ружьё с патронами отдай, а сам ложись спать. Я уже никому не верил, разрешил им развести и поддерживать костры, сам же подстелил спальный мешок и сел на мамонта. Добровольцы в самом деле спустили топливо с экскаватора, собрали тряпье и зажгли четыре коптящих факела. Только для песцов и тем паче собак это было как мёртвому припарки. Солнце не заходило, огонь не давал нужного эффекта, и с наступлением ночи всё зверье стало подтягиваться к валу.

И только сейчас, сидя на туше, я принялся и понял, что его привлекало: вероятно, мамонт после гибели сначала какое-то время лежал в тепле и подпортился ещё двадцать тысяч лет назад. Теперь же оттаял и стал источать запах гниения, который тонкий звериный нюх уловил сразу же и за много километров. Вывозить уникальную находку нужно было немедленно и срочно замораживать либо обрабатывать жидким азотом здесь, на месте.

Я связался с посёлком, и радист сказал, что начальника до сих пор нет, находится он уже в Красноярске, вернётся не раньше завтрашнего полудня и вроде бы вместе с учёными. До шести утра пришлось отстреливаться от зверья и больше – от собак, которых запах подтухшего мяса буквально сводил с ума. Парни тоже отмахивались факелами, плескали соляжкой и норовили подойти к туше, хотя я объяснил им, что мясо тухлое, наверняка с трупным ядом и есть его нельзя. Они посмеивались, шутили, пока одного из них не покусала собака. Потом забились в кабину экскаватора и вроде бы уснули. Я тоже начал дремать, сидя на туше, и уснул бы, но в какой-то миг почувствовал за спиной движение и открыл глаза. Солнце висело низко, и длинная колеблющаяся тень двигалась ко мне сзади, к голове мамонта. Я резко вскочил и обернулся: один из парней уже держался за бивень и прицеливался ножовкой по металлу, второй только подходил, и когда выстрел вверх громыхнул в утреннем воздухе, никто даже не дрогнул.

– Ты же не будешь в нас стрелять, – хладнокровно сказал тот, что собирался пилить. – Это же срок.

Второй ствол я разрядил у него над макушкой и тут же вложил новые патроны. Парень отскочил, бросив ножовку, затряс головой, и ещё один заряд ударил ему под ноги. Добровольные помощники отбежали к экскаватору, поорали, поматерились от страха, двое подались в посёлок, а оставшиеся залезли в кабину.

Весь последующий день просидел в напряжении и ожидании; вонь уже стояла такая, что вылезти из бульдозера было невозможно, я нюхал соляжку, чтоб перебить запах. Мамонт, пролежавший в вечной мерзлоте двадцать тысяч лет (а может, и больше), едва оказавшись на поверхности, на воздухе, под солнцем, начал стремительно разлагаться и вздувался на глазах. К вечеру прилетел начальник экспедиции, один, злой и резкий, распорядился по радио плотнее накрыть тушу, засыпать землёй (что нужно было сделать сразу же!) и возвращаться в посёлок. Я поправил брезент, натянул на голову палатку и два часа утюжил тундру вокруг, сгребая бульдозерной лопатой мох, камни и жидкую грязь. И когда насыпал невысокий курган, подумалось, что теперь это могила. Разозлённые «помощники» удалились, и мне бы следовало уйти в посёлок и выспаться, только не было сил, я заглушил бульдозер и под вой и лай песцов уснул в кабине.

А они рыли всю ночь, почти бок о бок со своими врагами – собаками. Я поднимал тяжёлую голову, и чудилось – снится кошмар: курган шевелился, как живой, грязные, мокрые зверьки напоминали насекомых из фильма ужасов.

Потом к ним присоединились люди, и мне кажется, это уже был не сон.

И всё-таки всем вместе им мало было ночи, хотя в некоторых местах уже показался брезент. Солнце не заходило круглыми сутками, однако звери, собаки и люди по единому закону ночных хищников на день разбегались, прятались или наблюдали издалека. Я запустил двигатель, восстановил курган, заперся в кабине и опять уснул, на сей раз так крепко, что ничего не видел и не слышал. Когда же встал, вся задняя часть мамонта оказалась раскопанной, кто-то очень аккуратно выщипал всю шерсть, которая и так уже лезла, и вырубил большой кусок мяса из ляжки.

Закапывать снова не имело смысла, впрочем, как и продолжать войну. Побродив вокруг, думал уже уйти в посёлок, однако на горизонте показался вездеход начальника.

Он всегда был человеком властным, конкретным, бескомпромиссным, как все начальники экспедиций в Арктике. Сейчас же приехал какой-то серый, задумчивый и рассеянный, молча прошёлся вокруг полураскопанного кургана, долго смотрел в рану, оставленную топором, после чего сунул лопату своему водителю.

– Копай.

Тот знал, что делать, завязал нос и рот платком и сразу принялся разрывать голову мамонта.

Мы отошли в сторону и встали на ветер, чтоб не чуют запаха. В экспедиции существовал железный сухой закон, однако начальник достал солдатскую фляжку со спиртом, налил в два стакана.

– А где учёные? – спросил я.

– Лето. Все в отпусках, на побережьях тёплых морей.

Выпили не чокаясь, как на поминках.

Водитель сделал раскоп, принёс пилу, топор и как-то очень уж профессионально стал вынимать бивни – с корнями. Возился долго, и когда достал оба, снёс на реку, отмыл и положил перед начальником, как жертву перед идолом.

Тот молча взял один и бросил мне в руки.

– Это тебе, на память.

Поднял другой и пошёл в вездеход.

– А что теперь с мамонтом делать? – спросил его вслед.

– Ничего, пусть звери едят. Всё польза...

Танкетка рыкнула, поползла вперёд и через несколько метров вдруг дала задний ход. Я закинул рюкзак, ружьё и залез под брезент с бивнем на руках. Через минуту ко мне забрался начальник экспедиции, сел рядом.

– Жалко мамонта, – сказал я. – Совсем целый был...

– Это был труп, – вдруг с прежней, привычной жёсткостью бросил он. – Мы с тобой – мамонты.

* * *

Женщины, как и положено, варили мясо, причём сразу в двух вёдрах, подвешенных над костром: кипятили в одной воде, сливали, после чего набирали свежую – вонь всё равно стояла на весь посёлок. Мужчины сидели и стояли плотным кругом, курили и ждали. Когда мамонтина сварилась, её вывалили на стол и началась трапеза. Попробовать пришли все, кто был в то время на базе, отрезали по маленькому кусочку, зажимали носы, морщились, клали в рот, жевали и глотали, будто горькое лекарство. Я смотрел на всё это сначала с отвращением, потом

ощутил непроизвольное желание тоже подойти к столу и взять кусок. Стоял и боролся сам с собой, пока кто-то в толпе не обронил со знанием дела:

– Похоже на человечину.

Чем сразу отбил всякую охоту.

Спустя десять дней, когда из ямы растащили даже обглоданные кости, из полевого отряда приехал Толя Стрельников. Он уже был наслышан о событиях в посёлке и сразу спросил:

– Ты ел?

– Нет, – признался я. – Не смог одолеть себя.

– А зря! Жалко, не успел! Я бы обязательно наелся мамонтины до отвала!

– Зачем?!

– Ты что, не знаешь? – изумился однополчанин. – Никогда не слышал? Мясо мамонта содержало ферменты, которые сгущали жидкий мозг. Оно способствовало образованию коры и подкорки! А значит, пробуждению разума! Мамонты сотворили человека разумного!

Вообще у Толика подобных сентенций было достаточно, начиная с рыбы валёк, которая будто бы есть на Таймыре, поэтому я ему давно не верил, однако сейчас, помня, с какой страстью звери и люди рвались вкушать мамонтины, готов был поверить. Только в этом случае получалось, что мозг у человечества снова стал жидким...

* * *

Замена так и не приехала, поскольку разведали первый участок и заговорили о свёртывании экспедиции. Сначала прекратили полевые работы, затем остановили буровые, и мы около месяца вообще болтались без дела, в основном ловили ленков и хариусов в речках – больше из спортивного интереса. Однажды как-то сошлись на рыбалке с начальником топографического отряда Володей Летягиным, тихим каким-то, невзрачным и невыразительным, но весьма образованным парнем. Ещё до начала поисковых и разведочных работ он делал съёмку всего кратера и один из немногих знал его отлично (это круглая воронка, с внутренним диаметром в семьдесят и внешним в сто километров, сильно растёртая ледником, изрезанная речками и покрытая множеством озёр, от названий которых язык сломаешь – Балганаах Кирикитте, например). А сошлись мы на речке с редкостным для здешних мест русским именем Рассоха, поговорили, кто куда поедет, когда закроют экспедицию, какие-то рыбацкие истории рассказали друг другу, и неожиданно Володя смотал удочку и сказал:

– А поехали завтра на Валёк? ГТСку возьмём и сгоняем. Может, там валёк подошёл, так постреляем.

Долго смотрел на меня, пока не сообразил, что требуется перевод всего сказанного.

– Да тут речка такая есть, Валёк, – объяснил он со слоновьим спокойствием. – Полста километров на восток. А там редкостная рыба – валёк. Только она на удочку не клюёт, наживки не подобрать. Но когда стоит на отмели, можно стрелять из винтовки. У тебя винтовка есть?

Я даже не слышал об этой речке. Режим секретности был таким, что даже обзорной карты всего кратера не показывали, мы получали лишь те листы, в рамках которых работали, и до восточной части никогда не добирались.

Ничего больше не спрашивая, я побежал за Володей вприпрыжку. На следующий день мы взяли тягач и рванули по тундре строго на восток. Я молчал как рыба, не выдавая своих чувств. Такой серьёзный человек, как Летягин, дурить головы людям не мог, это не романтичный авантюрист Стрельников, заманивший на Таймыр.

Но ведь тоже не обманул! И если так, то и человечество родилось благодаря тому, что употребляло в пищу мясо мамонтов.

А о золотой рыбке знал не только мой дед – существовала на Земле даже одноимённая река!

Понятно, что топограф валька уже ловил, вспарывал, жарил или варил уху, но почему ничего не говорит о золоте? Всякий соображающий рыбак непременно вскроет желудок, чтоб посмотреть, чем питается рыба и какую наживку использовать. А Володя был рыбак настоящий и уж никак не мог не заметить неестественную тяжесть валька...

Речка оказалась совсем маленькой, три метра ширины, каменистой, но с равнинным характером, тихо журчала между низких бережков и на первый взгляд казалась безрыбной. Даже более полноводные реки на Таймыре зимой промерзали до дна, всякое течение останавливалось до таяния снегов, значит, валёк или успевал спускаться в глубокие озёра, или попросту вмерзал в лёд до весны.

Мы осторожно прошли вдоль берега около полукилометра, и топограф, сделав знак, поднял винтовку. Я не успел увидеть стоящую у дна рыбу, когда щёлкнул выстрел и Володя, прыгнув в воду, вытащил первого валька.

Размером он действительно был около сорока сантиметров, почти круглой формы, с небольшой головкой и маленьким ртом. Я взвесил рыбу в руке, но, даже не потроша, понял, что в брюшке ничего нет, по крайней мере, горсти золота уж точно.

Свинцовая пуля пробила хребет навывлет, так что и от неё веса никак бы не прибавилось.

Однако достал нож и, вспоров, вынул потроха...

Если это был валёк, то он только плыл из океанских глубин к золотым россыпям и не нашёл ещё ни одного самородка, впрочем, как и пищи, поскольку желудок тоже оказался пустым.

Надежды ещё были, но мысленные; в душе я уже верил, что это на самом деле валёк, да вот обещанного дедом золота не будет, поскольку на территории кратера не зафиксировано ни единого проявления этого металла. Даже если питерские геологи (они начинали исследования кратера несколько лет назад) его просмотрели, не обнаружили, то всё равно на кой же ляд этой рыбе забираться в речку, вытекающую просто из болотистой тундры, где под мхом вечная мерзлота?

А по свидетельству деда, она идёт только туда, где есть золото. И ловится там же...

Володя отстрелял ещё двух рыб и стал ломать сухую лиственницу для костра, чтоб сварить уху. Я почистил и выпотрошил вальков, проверил, уже без всякой надежды, содержимое желудков и, пока закипал котелок, взял винтовку и прошёл вдоль реки. Окраска у этих «золотых рыбок» была сероватая, с серебристыми разводами вдоль брюха, и потому различить их в воде было очень трудно. Первого валька я принял за деревяшку, лежащую на дне, и спугнул, но второго «узнал». Он стоял против течения неподвижно, словно в оцепенении, и лишь чуть шевелил плавниками.

В момент выстрела мне показалось, будто что-то желтовато сверкнуло в воде, однако это был лишь солнечный блик на фонтане, выбитом пулей...

Солнечный удар

В день возвращения с Таймыра закончилась юность, по крайней мере, необузданная мечтательность и беспредельные надежды. В принципе, я мог остаться в Хатанге, уехать в Норильск или в бухту Нордвик, где стоял одноимённый мёртвый город и где была работа; мог найти место в одной из экспедиций Красноярского геологического управления, наконец, поехать в Мотыгино, в Ангарскую экспедицию, где был на практике. Полевики требовались везде, была бы только шея, однако уезжал с Таймыра, будто побитый: рыба валёк действительно существовала, только пустая, без самородков, и годилась разве что для ухи...

Оставался чистым, правдивым и непорочным один Гой, которого я видел собственными глазами, но и он отдалился вместе с горой и постепенно превратился если не в сказку, то в быль.

Я вернулся в Томск, поскольку больше ехать было некуда, а с этим городом связывало ностальгическое прошлое, оставшиеся друзья, отец, бабушка и братья, живущие в области, и наконец, учёба в университете. Была поздняя осень, бесконечные дожди и бесприютность. По старой памяти две ночи переночевал в общежитии техникума, но тут была новая комендантша, попросившая меня освободить помещение – с севера приехал, боялась, пьянку устрою со студентами. Потом заглянул к родителям Надежды – девушки, которая не дождалась меня и теперь жила в Киргизии; поговорили, повспоминали, оказывается, у Нади дочка родилась, Полинка, но личная жизнь что-то не клеится. В общем, я у них переночевал и утром ушёл с полной уверенностью, что никогда сюда не вернусь – видимо, в душе не отболело. Ещё одну ночь провёл у друга, жена которого намекнула, что живут они в страшной тесноте да ещё ребёнка ждут. В итоге, я оказался на улице, точнее, на вокзале. Путь вырисовывался определённый – пусть даже на время, но вернуться к отцу, в Зырянское, то есть прийти туда, откуда ушёл.

Отец к геологии относился настороженно, говорил, там одна бродяжничает да сибирячки.

В Томске было несколько экспедиций, и работа даже с пропиской и жильём там бы нашлась, но большинство их занималось поисками нефти и газа, что меня вообще не интересовало; в геологическую партию тоже не тянуло, там работали на четвертичке, или, грубо говоря, ползали по песку и глине. Пока слонялся по городу, стараясь понять, что хочу, совершенно случайно, по объявлению на заборе, нашёл и купил то, о чём когда-то мечтал, – новенький мотоцикл «Урал». Деньги были и, как говорят, жгли ляжку. В тот же день я собрался съездить к отцу, пока будто бы в отпуск, ну и похлестаться, дескать, у меня всё отлично, смотри, на «Урале» катаюсь, есть ружьё – пятизарядка, приёмник «Океан» и даже магнитофон (всё имущество носил с собой в рюкзаке, девать было некуда). А самое дорогое – свежий бивень мамонта, который ценится по весу золота, и можно сказать, я вожу с собой целое состояние.

И ещё хотелось съездить в родные места, на свою речку, к могилам матушки и деда...

Но тут вспомнил – не встал на партийный учёт, а надо сделать это в течение пяти дней, и сегодня – последний. (В партию нас принимали за раз целыми отделениями в армии, ведь ЦК КПСС охраняли!) Пришёл в райком, а там говорят, не можем поставить, прописки нет, работы нет, но выход есть – иди в милицию, ты же служил в таком месте, с Брежневым чуть ли не каждое утро за руку здоровался! Откровенно сказать, милицию я недолюбливал с юности после массовых драк между общагами геологов и автодорожников, даже в каталажке просидел однажды целую ночь.

А тут милицмейские погоны надеть!

Думал, формальность, отбрышусь, но там сразу же взяли за жабры, и я понял, как правы были вербовщики в ОМСБОНе, кузнице кадров. Мне обещали сразу всё – звание лейтенанта, должность в уголовном розыске, оклад и пока что – отдельную комнату в общежитии. И времени на раздумья дали два часа. Я вышел из красивого, с колоннами, здания, охраняемого

милицейскими постами, и обнаружил, что из коляски мотоцикла украли имущество, которым я гордился, – любимую пистолетную сумку, приёмник, магнитофон, фотоаппарат, бинокль, вещи для походного человека драгоценные, и всё моё состояние, то есть бивень мамонта.

Не думаю, что это сделали специально, вынуждая таким образом идти на работу в милицию; это была случайность, но роковая. Пожалуй, впервые я задумался, а почему так происходит? Зачем в трёх шагах от Манараги встретился однополчанин и сманил на Таймыр, что ничего, кроме разочарования, не принесло?

Теперь судьба привела в уголовный розыск, и что же ждать от этого?

Геолого-географический факультет я в тот же год оставил и поступил снова, теперь на юридический; вместо комнаты мне дали кладовую без окошка, камеру в шесть квадратных метров, в доме, заселённом криминальным, пьяным элементом, – рассчитывали, что я попутно буду усмирять поножовщину, возникающую чуть ли не каждую ночь.

Целыми днями я выслеживал и отлавливал преступников (в уголовке райотдела диапазон дел у оперативников колебался от украденных штанов до тройного убийства), а к ночи возвращался в свою камеру и зубрил предметы по юриспруденции, с ужасом понимая, что всё это совсем не моё и к будущему не имеет никакого отношения. Вопрос, зачем всё это, я задавал себе чуть ли не каждый день и тихо свирепел.

И вот к концу второго года работы, в промозглый октябрьский день я занимался делом о разбойном нападении и допоздна выдёргивал с адресов и допрашивал банду ПТУшников. В третьем часу ночи посадил в клетку последнего и хотел поспать на стульях в кабинете, потому что идти в холодную клетушку по дождю не хотелось, но когда ключник запирает камеру, из её полумрака вдруг почувствовал взгляд человеческих глаз, невероятно знакомых, можно сказать, родных – так мне показалось в тот миг.

Я вернулся к «обезьяннику» и сквозь решётку увидел Гоя! В том образе, который приносился мне на Таймыре, – седовласый старик с птичьим взором.

Было ощущение, что и он узнал меня, потому что смотрел пристально, не мигая и чуть исподлобья, не обращая ни на кого внимания, – взгляд Гоя!

Я спросил у дежурного, за кем он числится, но оказалось, старик сидит «бесхозным», то есть с ним ещё никто не работал, и завтра начальник распишет, кому заниматься этим задержанным, скорее всего, сдадут в психушку или в КГБ. Его притащил с речного вокзала начальник ПМГ Буряк, задержал за бродяжничество, документов, естественно, не было никаких. Тот назвался фамилией Бояринов, однако при личном досмотре обнаружили непонятные записи цифрами в столбик и с латинскими буквами – что-то вроде шифровки (на самом деле – записанные шахматные партии, и дежурный сразу это понял), а также полкаравая ржаного хлеба, испечённого, судя по золе, на поду русской печи, матерчатый мешочек с серым веществом, похожим на соль, и пластмассовую коробочку с землёй красноватого цвета.

Так было написано в рапорте дотошного сержанта Буряка, который давно просился в уголовный розыск и всегда показывал свою криминалистическую сметливость и наблюдательность. (Некоторые мудрые бродяги делали так: чтоб не попадать в руки к опостылевшим и злым милиционерам, но отдохнуть несколько зимних месяцев в тепле и сытости, собирали на свалках возле студенческих общежитий какие-нибудь технические чертежи и фотоплёнки, зашивали в одежду и таким образом оказывались у интеллигентных комитетчиков, которым тоже приходилось делать вид, что работают.) В общем, клиент был не наш, а скорее всего специфического лечебного учреждения, и пока его не передали, надо было вытаскивать Гоя любыми путями.

А то, что это он, я не сомневался – соль!

На смене был Ромка Казаков, старый, уставший от милицейской суеты опер, сидевший теперь в дежурной части, он должен был понять рвение молодого бойца. Я шепнул ему на ухо, мол, дай-ка деда, я с ним поработаю, то есть проверю на предмет информационной полезности.

Бродяги – народ проницательный, наблюдательный и вездесущий, добрая их половина сотрудничала с милицией и ею же подкармливалась. Ромка возражать не стал, однако, как опытный практик, особого энтузиазма не проявил, дескать, у старика голова явно не в форме, даже если и будет от него польза, начальство воспротивится, дураков среди доверенных лиц и так хватает. Но вещи задержанного отдал и велел сержанту отвести его ко мне, мол, паши, трудись, рой копытом землю, молодой...

В кабинете я осмотрел изъятые, с точки зрения геолога поворошил красноватый суглинок в коробочке, как крестьянин оглядел почти свежую и душистую половинку хлебного каравая и, наконец, дрожащими руками развязал мешочек.

И в тот же миг пахнуло детством: кристаллики соли были прекраснее самых больших алмазов. От внезапного желания съесть хотя бы один слюна потекла и во рту стало солоно, однако в этот момент сержант привёл задержанного Бояринова, пришлось напустить равнодушный вид, но показалось, этот человек с острым, птичьим взором сразу же заметил моё состояние и как-то криво ухмыльнулся.

Я запер двойную дверь на ключ и вдруг ощутил растерянность.

Меня научили, с чего начинать и как вести разговор с кандидатом в доверенные лица и агенты, по каким признакам узнавать его психическое и психологическое состояние, истинное социальное положение, определять круг знакомых и потенциальные возможности, и это у меня получалось совсем неплохо. За два года работы я хорошо освоил методику допроса, умел задавать каверзные, с двойным дном, вопросы, расставлять словесные ловушки и уличать во лжи, однако я не собирался ни вербовать Гоя, ни допрашивать его и теперь не знал, что говорить. На языке да и в голове вертелась единственная мысль – вот так встреча! Стоял перед ним, смотрел в крепкое, сильное и совсем не старое лицо и чувствовал, что так и простою. Он тоже молчал и, казалось, был совершенно равнодушен к собственной судьбе, и если поглядывал на меня, то как всякий бродяга на мента – со скрытым, спокойным презрением.

Наконец, я справился с замешательством, сложил в котомку вещички, в том числе простенький блокнот, в котором Буряк обнаружил «шифровки», и отдал Гою.

– Через некоторое время выведу из отдела, и уходи.

Он вскинул свой орлиный взор.

– Отпускаешь меня на свободу?

– Отпускаю.

– Это похоже на благодарность... А за что?

– Наверное, не помнишь меня, но я тебя узнал. В детстве ты дал мне соль и завернул в шкуру красного быка...

Гой на миг оживился, распрямились суровые брови, однако тут же обвьял.

– Нет, не помню... Я многим изгоям давал соль и многих заворачивал в шкуры...

– Ещё ты долго разговаривал с моим дедом и называл ему срок смерти, – напомнил я, но заметил, что это не производит никакого эффекта.

– Время уходит, старею...

– А я тебя потом долго искал и ждал, – признался я. – На Змеиную Горку ходил, на Божье озеро...

– Куда ходил? – воспрянул Гой. – На Божье озеро?

– Мне дед сказал, ты можешь там появиться или даже перезимовать.

– Скажи-ка мне, где я сейчас нахожусь? – после долгой паузы как-то несмело и стыдливо спросил он, чем окончательно меня обескуражил.

– В милиции...

– Нет, как называется это место?

– Город Томск.

– Города появляются и исчезают. Ты мне скажи, какая здесь река?

– Томь... – У меня проскочила мысль, что Ромка Казаков, возможно, прав: у этого человека напряжёнка с головой.

– Погоди... Томь, Томь... Она куда впадает?

– В реку Обь.

– В Обь? – искренне изумился Гой, но с его орлиными глазами это получилось гневно. – Это что, я пришёл на Обь?

– До Оби тут недалеко...

Он ссутулился, некоторое время гладил бороду и наконец сказал со вздохом:

– Ну вот, опять сюда занесло... И уже не первый раз. Понимаешь, с пути сбился, хожу, хожу, места узнать не могу. – Он улыбнулся, показывая из-под усов молодые, белые зубы. – Старый стал, слепну, а чудится, на Земле темнеет. Пора бы на покой. Вот схожу в последний раз и скажу владыке, чтоб отпустил... Ведь стыд и срам – дорогу в сумерках потерял!

Поверить, что этот человек с пристальным птичьим взором слепой, было невозможно, кажется, он видел всё вокруг, и даже у себя за спиной. Но возразить я не мог, а точнее, не смел, поскольку сидел оглушённый, мысли качались, будто маятник: то казалось, разговариваю с сумасшедшим и сам схожу с ума, то вдруг явственно ощущал, что прикасаюсь к великому таинству и надо остановить или продлить мгновение.

Видимо, и он колебания мои узрел.

– Говоришь, узнал меня? – вдруг спросил строго.

– Узнал, но только по глазам, лица не запомнил...

– И я давал тебе соль?

– Давал...

– Ну и как, горькая была?

– Нет, я до сих пор помню её вкус.

– Что же ты мечешься?

– Не знаю... Слишком неожиданная встреча.

– Почему неожиданная? – усмехнулся он. – Разве ты не искал меня? Не ждал?... Нет, ты стал изгоем, как все повзрослевшие дети.

В этот миг для меня неожиданно открылось это слово – ИЗГОЙ, о смысле которого я не задумывался никогда, а точнее, воспринимал его таким, каким предлагал современный язык – изгнанный, униженный человек.

ИЗГОЙ – ИЗ ГОЕВ, то есть бывший ГОЙ, человек, вышедший из этого племени и утративший с ним связь!

Первой мыслью было спросить его об этом, но я перехватил его острый, неприятный взгляд, будто выставленный передо мной барьер.

Задавать вопросы отпала всякая охота, но одновременно как-то отвлечённо и подспудно я жалел, что теряю время, что это единственная уникальная возможность расспросить его обо всём – о Манараге в первую очередь, о женщине по имени Карна и реке Ура, обо всём, что не давало мне покоя с детства.

Может, впервые я повиновался року, выдержал, преодолел страстное любопытство и, успокоенный, натянул плащ, проверил, заперт ли сейф, и открыл входную дверь.

– Значит, лес там вырубил? – неожиданно спросил Гой.

– Где? – Я не мог сразу сообразить, о чём он спрашивает.

– Да там, куда ты ходил меня искать.

– Вырубил. – Я вспомнил о древнем боре на Божьем озере. – И выход карчами затянуло, замыло, теперь вода высокая стоит всё лето, вровень с берегами.

– А остров плавает?

Плавучим островом называли часть торфянистого берега, далеко выдающегося в озеро. Говорили, в незапамятные времена часть суши вместе с лесом оторвалась и много лет курси-

ровала из одного конца озера в другой, словно корабль под парусами. Матушка показывала мне этот бывший остров, но не пускала на него, поскольку он считался зыбким и гиблым, даже самые отважные мужики не смели ходить, а там росла крупная бордовая княженика, на которую я мог смотреть только издалека. И вот когда я в одиночку пошёл на Божье, то в первую очередь забрался на остров и наелся княженики.

– Нет, остров давно прирос к берегу, – объяснил я.

– Жаль, – обронил он и вдруг сел. – В самые свои лучшие годы я там жил с моей Валкарией. Она ещё была молода и прекрасна, мы плыли на острове, ели ягоды, а кругом сосны шумели... Сколько же лет минуло? Кажется, целый век, а то и больше...

Гой замолк, и взор его птичий неожиданно потускнел.

– Валкария – твоя жена? – спросил я, чтоб отвлечь его, но он не услышал, погружённый в воспоминания.

– С тех пор меня всё время тянет сюда, на Обь, а приду – не узнаю мест... Но всё, пришла пора на покой, надо возвращаться домой. – Он достал мешочек, долго, по-стариковски, развязывал его, затем придирчиво заглянул внутрь. – И мне пора прирастать к берегу... А хочешь ещё раз соли вкусить?

– Хочу...

– Подставляй руку.

Он сыпнул мне совсем маленькую щепоть, сероватые кристаллики лишь чуть запорошили углубление в ладони. Я смёл их в кучку и забросил в рот, как таблетку.

И будто горящий уголь хватанул! Горечь оказалась настолько сильной, что опалило язык и в следующий миг меня чуть не вырвало. Я попытался выплюнуть эту гадость в урну, но не тут-то было, соль растаяла мгновенно. Была мысль схватить графин и прополоскать рот водой, но Гой в этот момент завязывал мешочек и всё видел. Видно, там действительно находилась какая-то химия, потому что я отлично помнил винный аромат той соли, которую он давал мне в детстве. Или она помогала и была приятна только больным и страждущим?

Полость рта, язык и гортань онемели, и это как-то спасло от рвоты. Отворачиваясь, я сглатывал слюну и чувствовал, как эта огненная горечь всасывается в кровь. Гой наблюдал за мной, хотя тоже делал вид, что собирается. Мы вышли в коридор, я запер дверь, хотел сказать ему, чтоб шёл вперёд, но понял, что потерявший чувствительность язык не слушается.

Проходя мимо дежурки, махнул Ромке Казакову, мол, забираю с собой, тот показал руками крест. Это означало, что в журнале будет написано – с задержанным разобрались, отпущен.

Я не знал, как следует прощаться с Гоем, поэтому отвёл его подальше от отдела и показал вдоль улицы.

– Мне туда, – вымучил неповоротливым языком.

– Если туда – иди, – разрешил он. – А что соль? Горькая?

– Горькая...

– Потому что ты изгой. – Он двинулся в обратную моему направлению сторону. – Зато больше никогда не попросишь! И другим скажешь, чтоб не искали...

Показалось, он ещё что-то сказал, но из-за шороха дождя я не расслышал, переспросил – Гой глянул через плечо, махнул котомкой.

– Иди! Иди! Чего встал?

Так мы и разошлись.

* * *

В то утро я проспал на работу, поскольку приобрёл домой лишь в пять, однако на удивление в хорошем настроении – даже не спросив ни о чём Гоя, я успокоился, мне почему-то всё

казалось понятным, ничто не мучило, не отягощало, и даже остатки тошнотного вкуса соли как-то незаметно рассосались и пропали. На работу я мог прийти позже часа на три-четыре, поскольку работал ночью, но за мной приехал начальник уголовки Пётр Петрович, сокращённо – ПП, в дверь кулаком застучал, и когда я открыл, у него очки на носу подпрыгивали – признак крайнего возбуждения.

– Быстро собирайся, поехали!

Думал, опять убийство на моей земле и очередной аврал, но в машине ПП на меня волком глянул.

– Где Бояринов?

Эта протокольная фамилия в голове у меня не отложилась, я помнил и знал лишь Гоя и потому спросил, кто это такой.

– Бродяга с речвокзала! Где?!

– Отпустил...

Он не дал договорить.

– Кто тебя просил соваться?! Ну кто?

От возмущения и злости он даже говорить не мог, сверкнул очками, отвернулся.

– Ладно, сам будешь отвечать.

Он бы мог сдать меня с потрохами, чтоб самому не влетело, однако у ПП оказалось сильным корпоративное чувство, да и потом он мужиком был порядочным. Когда подъезжали, намекнул, каким образом будут меня спасать и как я должен оправдываться.

– Молодой, опыта мало... Хотел провести вербовку... Он согласился на сотрудничество, дал информацию по Кудельнику. Фамилию запомни. Рапорт на моё имя сейчас же... Кудельника утром взяли на адресе...

Я и представления не имел, кто такой Кудельник...

Особого переполюха в отделе заметно не было, разве что отдежуривший Ромка Казаков почему-то всё ещё торчал в коридоре как посетитель. ПП затащил меня сначала в свой кабинет, где я настроил несколько необходимых бумаг, а потом повёл к начальнику отдела, у которого оказались два подполковника из нашего управления, занимающиеся оперативной работой, и трое в гражданском, по интеллигентным повадкам – комитетчики. Спрашивали они тихо, ласково, почти без эмоций, интересовались в основном процессом вербовки, которого не было, намерениями Бояринова и условиями следующей встречи. Благодаря инструкциям ПП я на ходу сочинил легенду с подробностями, деталями и психологическими нюансами. И с тех пор поверил в силу мелкой, незначительной, но точной детали: опытные, в возрасте, оперативники КГБ мне поверили и вечером в «назначенный» час пошли со мной на «встречу» с Ангелом – такую кличку я будто бы присвоил вновь завербованному «доверенному лицу».

Как и следовало ожидать, новобранец тайных дел на встречу с резидентом «не явился». По всем правилам конспиративной работы я сводил их ещё раз, на запасное место – Бояринов опять «не пришёл».

И по телефону мне «не звонил»...

Через несколько дней меня вызвали в кадры, подполковник, уговоривший когда-то пойти на работу в милицию, полистал личное дело, зацепился взглядом за что-то и спросил, где живёт отец.

– В Зырянском, – сказал я.

– Вот туда и поедешь!

А комитетчики ещё дважды интересовались судьбой Бояринова и даже ко мне в ссылку приезжали. Чем их так увлёк мой Гой, я долго не знал, в его шпионство не верил. Наконец, через полгода ссылки ПП затеял процесс моего возвращения в город (это ему не удалось, я начинал подумывать о том, чтоб увольняться вообще) и рассказал за бутылочкой, что КГБ уже лет двадцать отслеживает Бояринова за многократный незаконный переход государствен-

ной границы СССР и никак не может схватить. И будто в этот раз, когда начальник ПМГ Буряк случайно задержал Бояринова на речвокзале в Томске, его ждали в районе Таганрога на Азове, поскольку было известно, что опять идёт за границу без паспорта и виз. Через несколько недель, как я отпустил Гоя, его засекли службы наблюдения в Алтайских горах, но взять не смогли.

Бояринова пытались вести и отслеживать контакты, но этот нарушитель границ двигался странным, путаным маршрутом и, уходя от слежки, вдруг объявлялся в самых неожиданных точках, как, например, сейчас в Томске. Комитетчикам была известна даже конечная точка его маршрута – север Индии, куда он ходил многократно, спокойно минуя аж три границы сопредельных государств. Его подозревали и в шпионаже, и в контрабанде, записывали в сектанты, но ни разу никому не удавалось задержать его и тряхнуть как следует.

И вот сержанту Буряку это наконец удалось, однако по моей «молодости и самоуверенности» Бояринов снова оказался на свободе.

Можно было бы не поверить ПП, ибо у него уже очки съезжали и язык заплетался, но его жена работала в Комитете. И была ещё одна, самая важная деталь: после всех этих событий Буряк очень тихо уволился и скоро превратился в оперуполномоченного КГБ. Людей из милиции они в свои ряды не пускали, даже самых толковых, и это был исключительный случай, видимо, сержанта Буряка, имеющего всего-то десятилетку, взяли за какие-то особые заслуги или качества. В Томске он проработал недолго; как-то случайно в разговоре с Ромкой Казаковым (он был на пенсии, но ещё лет пять сидел целыми днями в дежурке и знал все новости) выяснилось, что бывший начальник ПМГ давно уже в Москве, в центральном аппарате, а чем занимается, ведает только Андропов и сам Бог.

* * *

После того как мы расстались с Гоем на улице недалеко от отдела, я понял, для чего судьба привела в милицию. Когда-то он спас меня от смерти, завернув в шкуру красного быка, и вот теперь я спас его и моя миссия в органах правопорядка окончена. Можно ещё работать долго и много, раскрывать сложные преступления, выслужиться до майора или даже выше, но тот миг, во имя которого меня затянуло в уголовный розыск, свершился – я оказался в нужном месте и в нужное время.

И всего-то, как я тогда думал, чтоб вывести Гоя из клетки.

Вроде бы всё прошло отлично, нет никаких оснований для разочарования, но отчего-то наваливалась тоска, подавляло в солнечном сплетении и хотелось посидеть где-нибудь на берегу родной речки и посмотреть на бегущую воду. Полностью предаться этим чувствам не мог, а точнее, не успел, поскольку началось разбирательство с отпущенным Бояриновым. Однако, едва приехав к месту ссылки, в Зырянское, я ощутил прилив хандры. Время подкатывало к зимней сессии, надо было сдавать контрольные и готовиться к экзаменам, да и жуликов, хоть и деревенских, бесхитростных, но ловить, а у меня отрыгнулся почти смывшийся вкус горькой соли, и я не знал, куда себя деть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.